

**В форуме «Антропология и социология»
приняли участие:**

Дмитрий Владимирович Арзютов (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург)

Сергей Александрович Арутюнов (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва)

Влада Вячеславовна Баранова (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург / Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург)

Павел Людвигович Белков (Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург)

Эвелин Бингаман (Eveline Bingaman) (Национальный университет Цинь Хуа, Синьчжу, Тайвань)

Виктор Владимирович Бочаров (Санкт-Петербургский государственный университет)

Виктор Семенович Вахштайн (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва)

Николай Борисович Вахтин (Европейский университет в Санкт-Петербурге)

Борис Ефимович Винер (Социологический институт РАН, Санкт-Петербург)

Сьюзен Гэл (Susan Gal) (Чикагский университет, США)

Дмитрий Вячеславович Громов (Государственный республиканский центр русского фольклора, Москва)

Себастьян Джоб (Sebastian Job) (Университет Сиднея, Австралия)

Вячеслав Всеволодович Иванов (Калифорнийский университет, Беркли, США)

Елена Валерьевна Осетрова (Сибирский федеральный университет, Красноярск)

Константин Рангочев (Институт математики и информатики Болгарской Академии наук / Ассоциация по антропологии, этнологии и фольклористике «ОНГАЛ», София, Болгария)

Павел Васильевич Романов (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва / Центр социальной политики и гендерных исследований, Саратов)

Светлана Игоревна Рыжакова (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва)

Александр Николаевич Садовой (Сочинский научно-исследовательский центр РАН)

Михаил Михайлович Соколов (Европейский университет в Санкт-Петербурге)

Сергей Валерьевич Соколовский (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва)

Михаил Викторович Строганов (Тверской государственный университет)

Кирилл Дмитриевич Титаев (Европейский университет в Санкт-Петербурге / Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург)

Ка-чонг Чой (Kam-cheong Choi) (Университет Сучжоу, Тайбэй, Тайвань)

Анатолий Николаевич Ямсков (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва / Московский городской педагогический университет)

Елена Ростиславовна Ярская-Смирнова (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва / Саратовский государственный технический университет)

Антропология и социология

ВОПРОСЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

В этот раз редколлегия обратилась к участникам «Форума» с вопросами о соотношении антропологии и социологии. Не секрет, что области человеческого знания часто оказываются выделенными искусственно. Между разными, но близкими науками (дисциплинами, отраслями знаний...) может оказаться много общего в объекте исследования, в методах сбора материала и способах его интерпретации, а также в конвенциях: что именно считается «исследованием», «доказательством», «теорией» или «результатом».

1

Как, на ваш взгляд, выглядит в этой связи соотношение между социологией и (социальной, культурной) антропологией?

2

Что (кроме номера специальности) делает социолога социологом (или: «не-антропологом»), а антрополога антропологом (или соответственно «не-социологом»)?

3

Какие области пересечения антропологии и социологии вам представляются перспективными, а какие, наоборот, не должны допускать «вторжения» соседней науки?

- 4 *Есть ли у вас опыт совместной работы с коллегами, относящимися к другой дисциплине, — соответственно антропологии или социологии? Если да — ощущали ли вы различия в методах, подходах, результатах?*
- 5 *Сталкивались ли вы с ситуациями, когда методы и результаты работы коллег, занимавшихся близкой темой, но с позиций другой дисциплины, казались вам неудовлетворительными? Что именно в них было «не так»?*
- 6 *Каковы, с вашей точки зрения, сильные и слабые стороны социологии и антропологии? Могут ли слабости одной науки компенсироваться достоинствами другой в совместных исследованиях?*

ДМИТРИЙ АРЗЮТОВ

Как уже было отмечено в предисловии к вопросам данного «Форума», области научного знания являются продуктом воображаемого разграничения и порядка сродни линнеевской классификации живой природы.

Еще Франц Боас обращал внимание, что антропология как дисциплина (физическая, социальная, культурная, лингвистическая и т.п.) — это случайность и, как отмечают Ахил Гупта и Джеймс Фергюсон, оправданием этой случайности стало университетское дисциплинарное разделение, которое создало целостность такого набора наук.

Уместно привести несколько примеров. Всем известны исследования француза Пьера Бурдьё, одного из крупнейших социологов XX в., и французского же антрополога Клода Леви-Строса. Эти исследователи демонстрируют два поразительно похожих случая не только «контрабанды» каждого из «государств» (антропологии и социологии), но и ее влияния на их «внутреннюю политику». Проникновение Пьера Бурдьё в антропологию связано прежде всего с его полевой работой в Алжире и знаменитым очерком «Дом, или Перевернутый

Дмитрий Владимирович Арзютов
Музей антропологии
и этнографии
им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН,
Санкт-Петербург
darzyutov@mail.ru

мир». Однако сегодня социологический дискурс Бурдьё «вжился» в тело антропологии с привычными для уха антрополога словами: габитус, докса и т.п., а в некоторых случаях мне доводилось слышать даже сравнение широкогородского психоментального комплекса с габитусом Бурдьё. Похожей кажется и история Леви-Строса, структурализм которого, правда, совместно с целой плеядой исследователей — Романом Якобсоном — а позже и сэром Эдмундом Личем и др. — был своеобразной главной идеей гуманитарной мысли, что отразилось, естественно, и на социологических исследованиях. Что это, частные случаи одного конкретного интеллектуального фона, одной страны, одного поколения или даже одного города? Думаю, что нет. Мы можем привести и обратную хорошо известную ситуацию, когда коллеги-социологи и коллеги-антропологи в одном городе не то чтобы не понимают друг друга, но всякий раз намеренно прокладывают «государственные границы» и как часовые их охраняют.

Сам по себе диалог возможен и даже необходим, ведь провести «контрабанду» через пусть и закрытую границу не столь уж трудно. С вживлением терминологии, метода и т.п. дело обстоит труднее — мешают коннотации, которыми их нагружают социологи и антропологи. Однако в случае с Бурдьё его антропологическое прочтение несильно разнится с социологическим оригиналом, такая же история и с Леви-Стросом. Где же тогда пролегают точки схождения и расхождения?

Читая разные антропологические и социологические книги, можно увидеть два обстоятельства, на которых и имеет смысл остановиться.

Первое довольно точно однажды было обозначено К.В. Чистовым (к сожалению, не вспомню, где встретил эту фразу): «этнография — наука о мелочах». Локальные исследования очень сближают, особенно если мы читаем схожих классиков гуманитарной мысли, будь то философы, антропологи, социологи, лингвисты. Ведь именно тогда доминирование дисциплинарного разделения можно заменить толкованием о конкретных вещах, которые лежат вне жестких рамок антропологии или социологии. Схождение, или соседство, дисциплин существовало и в Советском Союзе, где, например, в изучении коренных народов Сибири принимали участие в том числе и социологи (например, группа В.И. Бойко из Новосибирска), которые больше ориентировались на количественные методы исследования, поэтому их соседство с этнографами, занятыми решением прежде всего проблем исторической этнографии, было совершенно мирным и по возможности взаимоуважительным. Единственным отличием был метод — своеобразный

диалог количественных и качественных методов исследования.

Второе обстоятельство связано с тем, что по мере увеличивающегося перекрестного и многоязычного чтения антропология превращается в дисциплину во многом философскую, где каждое понятие и каждый термин обретают целый коннотативный клубок, который требует осмысления, критики и озвучивания в выступлениях, статьях, книгах. То же происходит с социологией, правда, с некоторым отличием, т.к. изначально социология позиционировала себя более как теоретическая дисциплина.

Думается, что основным расхождением в социологии и антропологии по-прежнему остается объект. В СССР объекты были разделены с позитивистской четкостью. В одном случае это был фетиш этноса и традиции, в другом — советского общества. При обращении к более высокому уровню интерпретации эти расхождения объектов восходят к общим разграничениям «науки о них» и «науки о себе». Как только необходим был диалог, то создавались мосты в виде этносоциологии и вытекающих из нее этносоциальных процессов и т.п. Сегодня российская антропология находится в замешательстве, не зная, что же может быть ее объектом, и зачастую выбирая постмодернистскую плюралистическую парадигму, но наполняя ее позитивистским содержанием, тем самым создавая как бы внутренний конфликт дисциплины. Ситуация в социологии мне известна гораздо хуже, но из прочтенных работ складывается впечатление ее дальнейшего погружения в философию и как пересмотра устоявшихся парадигм, так и углубления интерпретаций, но вместе с этим и схожего с российской антропологией переживания постсоветского кризиса дисциплины.

Пока эти расхождения скорее «теоретического» свойства, т.к. «преодоление кризиса», о котором в российской антропологии говорят последние 20 лет и которое уже иронично обыгрывают сами антропологи, не завершилось. Увы, мы видим лишь «иллюзию благополучия» (должен согласиться с этим пессимистическим взглядом С.В. Соколовского). В теоретическом смысле с социологами договориться сегодня трудно (равно как и с зарубежными коллегами-антропологами) в силу отсутствия достойного знания теорий антропологии и умения ими оперировать, в отличие от продолжающегося желания прийти к новому «общему знаменателю», например в виде пресловутого всеобъемлющего «конструктивизма», выступающего как самое «западное» из самого «западного» знания, когда должным образом не отдают себе отчета в границах конструкторов и конструирования. Самым устойчивым мостом могут по-прежнему быть

лишь конкретные исследования и общий интеллектуальный background, который сможет обогатить «знание о них» через «знание о нас» и наоборот. Здесь отмечу, что определенный колониальный фон разделения на «них» и «нас», несмотря на свою шаткость, все же продолжает существовать и, наверное, будет иметь еще долгую жизнь, накладывая отпечаток на поле антрополога.

СЕРГЕЙ АРУТЮНОВ

Социология, в сущности, есть часть социальной антропологии в широком смысле слова. А можно считать и наоборот. Это дело вкуса и личного подхода. Хорошие результаты при хорошей работе можно получить и так, и этак. В любом случае речь идет об изучении человеческого сообщества и норм его жизни. Сюда не войдет только такая часть культурологии, как вещеведение.

Что делает социолога социологом, а антрополога антропологом? Социолог изучает отношения людей, индивидов и групп как таковые. Антрополог — отношения людей, проявленные в нормах и явлениях культуры. Культуролог — отношения явлений культуры как бы помимо людей. Социолог работает в основном посредством анкетирования и изучения статистического материала. Антрополог — посредством наблюдения и интервью, без статистики. Культуролог оперирует музейными вещами и их описаниями без непременно контакта с создающими и употребляющими вещи людьми. Понятно, что все это в общем-то схоластика и на самом деле неизбежно отчасти переплетается и перекликается. И в этом ответ на следующий вопрос — как это все пересекается. Чем больше пересекается, тем лучше. Самая хорошая работа — это когда все три подхода идут в синтезе.

Есть ли у меня опыт работы с социологами? Да, есть, например в Кабардино-Балкарии.

Сергей Александрович Арутюнов
Институт этнологии
и антропологии РАН,
Москва
gusaba@iea.ras.ru

Я редактировал социологическое исследование и остро ощущал излишнее доверие к анкете, недостаток данных качественных, открытых интервью, а не просто количественных опросов с закрытыми ответами «да — нет». И в этом ответ на следующий вопрос, а именно — «что не так».

Сила исследования — в опоре на комплексность подхода. Слабость — в использовании одного из подходов в ущерб или при игнорировании других.

ВЛАДА БАРАНОВА

Антропологи, социолингвисты, историки, социологи все больше работают не в границах своей дисциплины, а в общем поле социальных наук. Антропологический поворот в гуманитарных науках, о котором много говорят последнее время, затронул и социологию, а классиков социологии изучают на первых курсах социальной антропологии как «своих». Границы определяются, как мне кажется, не столько номерами дипломов ВАК, сколько используемыми методами и биографическими траекториями. Будучи даже не антропологом, а лингвистом, я так тесно связана с антропологическим сообществом, что в какой-то момент приобрела — среди прочих профессиональных идентичностей — антропологическую (в отличие от некоторых «настоящих» антропологов) специальность 07.00.07 и работаю на факультете социологии. Ниже я попробую представить некоторые соображения по поводу обоих профессиональных сообществ, осознавая, разумеется, что мои оценки будут во многом определяться привычными нормами полевой лингвистики и социолингвистики.

Влада Вячеславовна Баранова

Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
Санкт-Петербург / Институт
лингвистических
исследований РАН,
Санкт-Петербург
vlada_b@mail.ru

Социологическое и антропологическое сообщества отличаются, но разница между ними в материале, в постановке проблемы, терминологическом и ссылочном аппаратах и методах порой намного меньше, чем

между представителями одной дисциплины, работающими в разных традициях. Параллельно существующие «традиционные» этнографы и те, кто чаще называет себя антропологами, понимают друг друга примерно так же, как разные социологи, описанные М. Соколовым. Ниже я буду говорить лишь о тех социологах и антропологах, которые в какой-то степени включены в международное научное сообщество.

Чем отличаются эти социологи и антропологи? Социологические исследования в целом обладают более четкой теоретической рамкой, вопросы методологии почти всегда эксплицированы. Подобный подход заметно повышает уровень понимания научной работы (поскольку всегда ясно, в какой теоретической парадигме работает автор) и способствует формулированию более общих выводов. Это сильная сторона ученых с социологическим бэкграундом, которая, как мне кажется, в последнее время частично распространяется и на антропологические работы.

Другим положительным следствием внимания к методологии в социологических исследованиях является большая по сравнению с антропологией рефлексивность профессионального сообщества. Социологи гораздо больше обсуждают такие проблемы, как границы дисциплины, особенности проведения исследований, возможность прикладного использования научного знания, изучают себя. Особенности дисциплины часто заметны на «плохих» примерах, слепо копирующих образцы, и достаточно часто встречаются социологические студенческие или аспирантские работы, в которых подробно разбираются теоретические основания исследования и подходы классиков, детально описываются вход и выход из поля, сложности в работе, но до самого объекта дело не доходит. Возможно, что антропологии (как и полевой лингвистике, например) не следует полностью отказываться от описательных работ, идущих от традиции этнографических описаний, путевых заметок и пр.

Мой опыт работы с коллегами-социологами показывает, что сама техника исследования организована несколько иначе, чем у антропологов. Общий проект у антропологов может означать, что каждый занимается своей темой в рамках общего гранта, а потом несколько авторов вместе пишут книгу или сборник статей. Коллективные проекты у социологов, как мне кажется, более коллективны: роли расписаны, каждый из участников (особенно в больших проектах, предполагающих количественные исследования) занимается лишь сравнительно небольшим кусочком, данными обмениваются, и одни и те же материалы используются всеми. Нередко для сбора и обра-

ботки большого массива данных привлекают наемных или подневольных интервьюеров, транскрайберов. Это существенно увеличивает масштаб исследований и согласованность действий, но, к сожалению, при подобной «конвейерной» постановке работы отдельный участник может не представлять себе смысл проекта в целом, да и не все индивидуалисты готовы работать на таких условиях.

Опыт совместных исследований не только полезен, но и необходим — чтобы лучше понять не только друг друга, но и себя.

ПАВЕЛ БЕЛКОВ

Традиционная культура и социология

Представление об «искусственных» дисциплинах в контексте размежевания смежных («близких») наук, в частности социологии и (социальной, культурной) антропологии, так или иначе оказывается в поле известного тезиса об «исчезновении» предмета этнографии. Утверждение об исчезновении эмпирической реальности, отражаемой в понятии этнографии, равносильно утверждению об искусственном выделении этой дисциплины. По этому поводу принято говорить либо о том, что этнография является отраслью социологии, либо о том, что этнография не способна самостоятельно конструировать теоретические объекты. Впрочем, здесь одно подразумевает другое (если в рамках предлагаемой дискуссии временно исключить из рассмотрения вопрос о соотношении этнографии с другими дисциплинами, например лингвистикой): оппозиция *этнография — социология* выступает эквивалентом оппозиции *эмпирическое — теоретическое* знание.

Трудности с самой постановкой вопроса о соотношении социологии и прежде всего социальной антропологии возникают уже на терминологическом уровне, поскольку введение понятия «социальной антропологии» изначально обосновывалось предста-

вителями британской школы, в первую очередь Б. Малиновским, как необходимость использования теоретических ресурсов социологии при анализе этнографических данных. В рамках заявленной темы речь идет о том, что слабая сторона этнографии видится в отсутствии теории, которое должно компенсироваться теоретическими достоинствами социологии. Структура соответствующих рассуждений очень напоминает формулу подобия в заговорах: как теория включает в себя эмпирию, так и социология включает в себя этнографию. Или: как социология является теоретической дисциплиной, так этнография станет таковой путем включения ее в социологию. Конечно, при таком подходе вопрос о соотношении социальной антропологии и социологии звучит чисто риторически, так как в этом случае социальная антропология выступает в роли субдисциплины социологии. А поскольку социальная антропология и социология ставятся в отношении включения объема, вопрос о пересечении объемов этих понятий отпадает сам собой.

Надо также иметь в виду следующее. Вопрос о соотношении социологии и социальной (и шире — социальной и культурной) антропологии имеет смысл тогда и только тогда, когда в качестве критерия демаркации при выделении отдельных дисциплин берется метод, причем определяемый скорее как *техника*, или совокупность процедур, исследования. К. Леви-Строс, вероятно, был одним из первых, кто сформулировал это положение: вопрос состоит не в предмете (subject matter), а в «ориентации», «способе организации данных» [Lévi-Strauss 1963: 25]. На фоне истории науки данный постулат выглядит гораздо более радикально, чем какие-либо другие высказывания, не без причин создавшие Леви-Стросу репутацию оригинального мыслителя. Следует помнить, что за всю историю этнографии были созданы только три оригинальные исследовательские программы, три парадигмы: эволюционная школа, школа культурных кругов и функциональная школа. При всех терминологических и теоретических разногласиях они имеют общий базис, общую методологию, вполне точно указывающую на их связь с одной и той же дисциплиной, нацеленной на изучение явлений традиционной культуры (вещей) и отношений между ними. Поэтому вопрос, как выглядит соотношение между социологией и социальной антропологией, или, что то же самое, что делает социолога социологом, а антрополога антропологом, сводится к вопросу о соотношении этнографии и социологии, т.е. к вопросу о предмете исследования (по Гегелю, метод есть самодвижение предмета)¹.

¹ Обоснование данной точки зрения было предпринято в другой работе (см. раздел «Этнография и социология» в работе: [Белков 2009: 34–42]). Настоящее изложение имеет своей целью развитие и уточнение некоторых положений, поэтому возможны отдельные повторы.

Рассмотрим несколько противоречий, неизбежно возникающих при условии, что существование теоретического объекта «социальная антропология» принимается в качестве аксиомы. Одно из таких противоречий заключается в использовании эволюционистских схем вроде «первобытность — цивилизация», «бесписьменная — письменная культура» и т.п. для разграничения этнографии и социологии, чтобы затем сделать заключение об отсутствии между ними границ вообще или, как принято говорить, «четких» границ.

По мнению Ж. Маке, особенности этнологии определяются тем, что «предмет ее исследования — общество, которому неизвестна письменность», но «изучение социальных явлений в группах, не имеющих письменности, представляет собой скорее специализацию внутри дисциплины, чем самой дисциплину» [Маке 1974: 10]. Для К. Леви-Строса понимание этнографии как части социологии также является абсолютной истиной, однако приводя точку зрения, противоположную своей, он объективно признает, что аргумент, лежащий в основе этой точки зрения, легко разворачивается в обратную сторону: «Если <...> социологию рассматривать, как это имеет место в англосаксонских странах, в качестве всего корпуса эмпирических исследований, имеющих дело со структурой и функционированием более сложных обществ, она становится отраслью этнографии» [Lévi-Strauss 1963: 1–2]. Много раньше возможность подобного решения рассматривал С.М. Широкогоров: «Социология не сможет встать на твердые ноги до тех пор, пока не обратится в этнографию и даже часть ее — этнографию “диких” и этнографию “цивилизованных” народов» [Широкогоров 1923: 72].

Как показывает анализ высказываний Т. Парсонса, он приходит одновременно к двум взаимоисключающим утверждениям: «объем понятия социологии включен в объем понятия антропологии» и «объем понятия антропологии включен в объем понятия социологии» [Американская социология 1972: 362–363]. Другой пример такого рода дает Э. Геллнер. Перечисляя различия между антропологией и социологией, он делает вывод об отсутствии четкой границы между предметами социальной антропологии (этнографии) и социологии [Gellner 1973: 107–110].

На первый взгляд, мы сталкиваемся здесь с одним из вечных «метафизических» вопросов в виде антиномии. На самом деле все гораздо проще. Если в качестве метаязыка использовать социологию, этнография становится частью социологии, а если этнографию, то, наоборот, социология становится частью этнографии. Сначала мы постулируем существование науки,

объединяющей предметы этнографии и социологии (под именем социологии или социальной антропологии), а затем приступаем к выяснению, как эта наука соотносится с этнографией или социологией. Безусловно, представленное возражение должно касаться и концепции о необходимости для социологии встать под знамена этнографии. В этом пункте уместно обратить внимание на природу подобных высказываний. Все они не имеют статуса научных предложений, поскольку основаны на личном «ощущении» сходства или различия между науками. В терминах К. Поппера, такие предложения нефальсифицируемы, а проще говоря, относятся к разряду номинальных определений, т.е. таких определений, из которых в отличие от реальных определений мы ничего не узнаем о реальности, узнаем только то, что данный автор имеет в виду, используя тот или иной термин. Например, если К. Леви-Строс определяет этнографию как науку, изучающую отдельные общества, а этнологию — как науку, *синонимичную* социальной или культурной антропологии и использующую эмпирические наблюдения этнографов в целях сравнения и тем самым их теоретического осмысления, он лишь предупреждает читателя, в каком значении будет в дальнейшем использовать термины «этнография», «этнология» или «антропология», следовательно, имеет в виду только эти термины, ничего не говоря о реальности, ими обозначаемой [Lévi-Strauss 1963: 2].

Сделаем еще одно уточнение. Невидимым основанием (тем самым аргументом, который можно развернуть в любую сторону) для гибридизации этнографии и социологии служит практика использования термина «общество» в определениях предметной области социологии и этнографии (современное — первобытное общество, сложные — простые общества и т.п.). К сожалению, термин «общество», как и фактически синонимичный ему термин «человек» (вроде «человек — социальное животное»), имеет слишком широкое, даже расплывчатое, значение, будучи отражением скорее социально-философской идеи, чтобы с достаточной эффективностью использоваться в качестве обозначения предмета исследования конкретной науки. То же самое можно сказать о понятиях, выступающих в роли эвфемизма понятия общества.

В советской науке особым достижением Э. Дюркгейма как создателя «социологического метода» всегда считалось определение предметной области этнографии с помощью термина «социальные факты». В современной западной науке эта тенденция проявляется в использовании понятия «социальная жизнь». Согласно А. Барнарду, социальная антропология изучает «социальную жизнь людей» [Барнард 2009: 25]. Это определение социальной антропологии выносится в заглавие учеб-

ного пособия, автором которого он является: «Социальная антропология. Исследуя социальную жизнь людей» [Барнард 2009]. В неоднократно переиздававшемся учебнике М. Хаммерсли и П. Аткинсона «Этнография» в главе первой, которая так и называется «Что такое этнография?», этнография определяется как наука, изучающая «повседневную жизнь людей» безотносительно (это подчеркивается авторами специально) к тому, какие примеры можно было бы привести [Hammersley, Atkinson 2005: 1]. Далее авторы поясняют, что этнография является «основной формой социального исследования», неопределенность границ которого является ее неотъемлемой частью [Hammersley, Atkinson 2005: 2]. Поскольку социология обычно определяется как наука, изучающая «социальную жизнь», развести понятия этнографии / социальной антропологии действительно представляется трудной задачей. Все это показывает не только то, что вопреки известным положениям понятия социальной антропологии и этнографии отождествляются, но и то, что социальная антропология не имеет (как бы «не видит») своего предмета исследования.

Оборотной стороной рассуждений о неопределенности границ как «неотъемлемой части» этнографии является принятие тезиса о междисциплинарном подходе, неверно понимаемом как процесс вторичной интеграции, т.е. отмена существующих правил дифференциации наук. В данном случае необходимость междисциплинарных коммуникаций по обмену результатами, полученными независимыми друг от друга экспертными сообществами, воспринимается как требование «метисации» предметов исследования. Между тем различие между конкретными науками, как кажется, всегда определялось не наличием безусловных границ, а тем *местом*, которое они занимают в мире эмпирических представлений и научных понятий. Множества «этнография» и «социология» не равносильны друг другу. Забвение этого факта, независимо, с той или с другой стороны, ведет к неудовлетворительным результатам.

Таким образом, если называть вещи своими именами, понятие «социальная жизнь» в качестве обозначения некоторой области научного исследования ведет к отрицанию профессионального подхода. Студентов предлагается обучать фактически путем подражания уже существующим образцам, следуя матрице тем или скорее сюжетов исследования, которые по традиции ассоциируются с понятием этнографии («социальной антропологии»). Наука сводится к ритуалу, смысл которого давно утерян и который можно поддерживать только ссылками на авторитет эталонных текстов, используемых в качестве трюбников.

В интересующем нас аспекте можно было бы остановиться на том, что социальная антропология есть «наука, изучающая человеческие общества» или «наука, изучающая социальную жизнь». Но Т. Инголд все же пишет: «Признав, что мы толком не знаем, что же такое общества, да и существуют ли они вообще, не могли бы мы просто объявить, что антропология занимается изучением людей?» [Инголд 2009: 10–11]. Читая Т. Инголда, можно поставить другой вопрос: как отграничить антропологию от других академических дисциплин, «так или иначе имеющих дело с человеком — начиная с истории и психологии и заканчивая различными отраслями биологии человека и медицины?»

В конечном счете предлагается следующее: «Особенностью антропологии является <...> то, что мы занимается исследованиями *вместе* с людьми. Мы учимся воспринимать вещи (смотреть на них, трогать, слышать) так, как это делают они. И это заставляет нас видеть и свой привычный мир совершенно по-новому. В некотором смысле, таким образом, антропологическое образование не экипирует нас знанием о мире — о людях и обществах, к которым они принадлежат. Оно идет дальше — оно воспитывает в нас определенное *восприятие* мира, открывая нам глаза на возможность иных способов бытия, чем наш собственный. Речь идет о том, что изучая, мы учимся» [Инголд 2009: 11; курсив автора. — П.Б.]. В этом случае этнография становится отраслью педагогики, причем весьма спорной. По поводу третьего пункта (см. выше) Т. Инголд говорит, что вопрос о различии между понятиями «изучать антропологию» и «быть антропологом» (т.е. между студентом и преподавателем) есть вопрос риторический: «В самом деле, ни в чем» [Инголд 2009: 13]. Такой способ передачи информации от учителя к ученику характерен именно для традиционной культуры или так называемого мифологического сознания. Кстати говоря, анализ позиции Т. Инголда, по сути оказывающегося выразителем доминирующих ныне взглядов, совершенно исключает возможность использования каких-либо социологических приемов в исследовании традиционной культуры.

Таким образом, исследователи, проповедующие социологическую парадигму и *вместе* с тем «ощущающие» себя этнографами, в конце концов приходят к тому, что этнограф (социальный антрополог) — это «странный социолог», т.е. социолог, использующий несоциологические методы исследования. Почему этнографу приходится действовать таким странным для социолога образом? Вероятно, потому что этнограф — это не социолог. Этнограф имеет дело с «обществом», не знающим письменности, но в конечном счете исследует не «общество»,

а только его форму, т.е. культуру, поскольку его не интересуют отношения между людьми, его интересуют отношения между вещами (явлениями культуры). Напротив, если социолога и заинтересуют явления культуры как таковые, то только с точки зрения социального расслоения, когда принадлежность к этнической группе совпадает с принадлежностью к социальной группе. Эти вопросы должна изучать такая специальная отрасль социологии, как этносоциология, которую по не очень понятным причинам в настоящее время принимают за отрасль этнографии.

Согласно А.К. Байбуруну, вещь как этнографический факт — сгусток связей с другими вещами, или контекст, в котором она используется [Байбурун 1982: 10]. Но когда мы говорим, что этнограф должен рассматривать вещи как «сгустки связей», то мы говорим именно о вещах и ни о чем другом, понимая вещь расширительно (предмет материальной культуры, миф, ритуал). Это, конечно, не означает, что мы не отдаем себе отчета в том, что люди вступают между собой в связи по поводу или посредством вещей. Это означает лишь то, что подобные связи не имеют отношения к предмету исследования этнографии, а если и рассматриваются ею, то опять-таки целиком, как одно из явлений культуры.

На практике этнографам никогда не удавалось осуществить социологическую программу. Опрос как метод социологического исследования при всем внешнем сходстве принципиально отличается от опроса в рамках этнографических исследований. Этнографический опрос — это список универсалий (классов явлений) культуры, транспонированный в список вопросов к информанту. В его основе установка на исследование «чужой» культуры. Именно поэтому для этнографа становится принципиально невозможно использование метода включенного наблюдения. Это уже чистая социология, поскольку социолог проводит исследования в рамках *заведомо* «своей» культуры, где традиционная составляющая выступает в качестве субстрата, единой среды. Письменная культура разделяет людей по имущественному признаку, уровню образования, профессии, но устная традиция в широком смысле, ее знание, неосознанное следование ей или хотя бы общее представление о ней являются объединяющим моментом для представителей всех социальных слоев данной группы населения, рассматриваемой в качестве замкнутого («эндогамного» в терминах этнографии) множества людей.

Все опять-таки упирается в вопрос о предмете исследования. Если представить отношение социологии и этнографии наглядно, в виде диаграммы, состоящей из четырех «четвертей»,

то социология в отличие от этнографии занимает на рисунке (рис. 1) только одну «четверть»:



Рис. 1

Представленная выше схема является графическим решением «парадокса» Т. Парсонса. Этнография (антропология) «шире» социологии, поскольку при выделении своего предмета безразлична к разграничению понятий общества и культуры, но «уже» социологии, поскольку ограничивает свой предмет с помощью понятия бесписьменного общества. Однако об относительной «узости» этнографии можно говорить только в том случае, если принять тезис, что социология также занимается бесписьменными обществами. Принять этот тезис трудно, так как социология если и изучает бесписьменные общества, то только с того момента, когда они становятся одним из социальных слоев «больших обществ» с развитыми институтами письменной культуры. Следовательно, этнография и социология находятся в отношении исключения объемов. Без языка-посредника, или метаязыка, понятие социологии как науки о формах социального разделения труда «несовместно» с понятием этнографии как науки о формах традиционной культуры (остается загадкой, почему в существующие определения социологии не включается понятие социального разделения труда). Сами конкретные науки не могут выступать в качестве метаязыка по отношению друг к другу. В некотором смысле можно сказать, что социология изучает социальное разделение труда, но нельзя сказать, что этнография — наука о естественном разделении труда, поскольку естественное разделение труда есть лишь одно из явлений традиционной культуры, составляющей предмет этнографии.

Как уже отмечалось выше, одним из доводов в суждениях о пользе для этнографии социологических «прививок» служит

утверждение о «ненаучности» этнографии с точки зрения точных или естественных наук, методов, использовавшихся этнологией в XIX в. При характеристике своего функционального метода в качестве единственно научного Б. Малиновский уделял этому вопросу особое внимание, ставя этнологом в пример физику, химию и биологию [Malinowski 1922: 2–3]. А поскольку социология с самого первого момента обосновывала свое рождение переносом методов естественных наук на изучение общества, идея генетического родства социологии и социальной антропологии рассматривается как своего рода доказательство научности последней. Например, Э. Геллнер утверждает, что антропология (т.е. этнография) — эмпирическая, социология — теоретическая наука. В свое время А.Р. Рэдклифф-Браун специально подчеркивал, что детище Огюста Конта первоначально именовалось «социальной физикой». Но если социология действительно черпает свою «научность» в естественных дисциплинах, почему бы этнографам в поисках моделей исследования не обратиться к этим дисциплинам непосредственно? В этой «непосредственности» (оторванности от социологии, по выражению некоторых исследователей) заключается существенное отличие американской культурной антропологии от британской социальной антропологии.

Вместо заключения хотелось бы сделать еще одно замечание. Многочисленные противоречия, возникающие из попыток тем или иным способом «скрестить» этнографию и социологию, отчасти скрываются, отчасти провоцируются неверной постановкой вопроса. Именование научной дисциплины ставится впереди выделения предмета исследования. Именно поэтому сторонникам этнографии, социальной или культурной антропологии никак не удается выразить свою позицию за отсутствием языка, понятного не только единомышленникам, но и оппонентам. Речь идет о языке, на котором можно было бы в одних тех же терминах описывать, например, этнографию и антропологию.

Само по себе переименование этнографии в социальную или культурную антропологию никак не влияет на очертания, или, точнее, место, предмета подразумеваемой науки. Искать этот предмет следует, изучая историю ее первоначального становления, но никак не собственные (или чужие) рефлексии. Что же касается «научности» этнографии, то это проблема построения теоретических объектов (объектов исследования). Здесь не существует никаких других методов, кроме абстрагирования этнографической реальности, т.е. традиционной культуры, составляющей предмет исследования этнографии. При ближайшем рассмотрении «социальная антропология» и «культурная антропология» представляют собой особые парадигмы этно-

графии, причем ее собственные парадигмы (обозначение «этнография» исторически приоритетно). В свою очередь, указанные парадигмы вступают в конкуренцию с парадигмой, которую можно условно называть «этнологией», работающей на сохранение преемственности системы современных взглядов по отношению к трем базовым исследовательским программам изучения традиционной («первобытной») культуры.

Библиография

- Американская социология: Перспективы. Проблемы. Методы. М.: Прогресс, 1972.
- Байбурин А.К.* Некоторые вопросы изучения объективированных форм культуры (к проблеме этнографического факта) // Сборник МАЭ. Л.: Наука, 1982. Т. 38. Памятники культуры народов Европы и Европейской части СССР. С. 5–15.
- Барнард А.* Социальная антропология. Исследуя социальную жизнь людей. М.: ИЭА РАН, 2009.
- Белков П.Л.* Этнос и мифология: элементарные структуры этнографии. СПб.: Наука, 2009.
- Инголд Т.* Предисловие // Социальная антропология. Исследуя социальную жизнь людей. М.: ИЭА РАН, 2009. С. 10–15.
- Маке Ж.* Цивилизации Африки южнее Сахары. М.: Наука, 1974.
- Широкогоров С.М.* Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. Шанхай: Сиб-пресс, 1923.
- Gellner E.* Cause and Meaning in the Social Sciences. L.; Boston: Routledge and Kegan Paul, 1973.
- Hammersley M., Atkinson P.* Ethnography. Principles in practice. L.: Routledge, 2005.
- Lévi-Strauss C.* Structural Anthropology. N.Y.; L.: Basic Books Inc., 1963.
- Malinowski B.* Argonauts of the Western Pacific. L.: Routledge and Kegan Paul, 1922.

ЭВЕЛИН БИНГАМАН

1 Я вижу их различие в масштабе. По сути дела, множество тем, исследуемых обеими науками, является одним и тем же, различаются отправные точки. Социология начинается с материалов макроуровня (большие тенденции, большие теории) в надежде сказать что-то о микроуровне. Антропология, напротив, начинается с микроявлений и надеется со временем сказать что-то релевантное не только о данном конкретном участке. К несчастью, часто кажется, что обе науки не могут встретиться в середине, поскольку к тому времени, когда достигают общей площадки, они проходят настолько разные пути, чтобы попасть туда, что говорят на разных языках.

2 Изначальные вопросы, как я полагаю, определяют, будет ли работа социологической или антропологической. Мы пытаемся описать, как национализм влияет на систему глобальных взаимодействий или как националистические чувства появляются у конкретных людей. Кроме того, различные теоретические традиции и различные методы могут маркировать конкретную работу как антропологическую или социологическую.

3 Я думаю, что проблемы транснационализма, глобализации, миграции являются теми важными сферами, где обе науки могли бы внести большой вклад, работая вместе. Я полагаю, для того чтобы у нас была полная картина этих явлений, необходимы обе точки зрения. Мне кажется, что в других сферах у социологии и антропологии меньше возможностей для пересечений. В то время как антропологи изучают то, как, например, женщины-шаманы борются за более высокий социальный статус в своем племенном сообществе в контексте политического признания на Тайване, социологи, по всей вероятности, исследуют что-то совершенно другое. Они могут помочь друг другу, однако по большей части ставят разные вопросы. И это хорошо.

Эвелин Бингаман
(Eveline Bingaman)

Национальный университет
Цинь Хуа, Синьчжу, Тайвань
evelineaman@hotmail.com

- 4** Нет, у меня пока не было возможности работать с социологами.
- 5** Приведу один пример. Недавно я написала небольшой критический очерк о книге Рождера Брубейкера “Ethnicity without Groups”, вышедшей в 2004 г. Мне кажется, что все проблемы, поднятые Брубейкером в 2004 г. и касающиеся смешения таких терминов, как «этничность» и «идентичность», были решены антропологами по меньшей мере десятью годами ранее. Его аргументация вращается вокруг смешения определений, которыми пользуются люди вне академического мира и которые основаны на их «здоровом смысле», и концептов, пригодных для специалиста в области социальных наук. Мне кажется, что проблема, на которую он указывает, не столь часто возникает в антропологии благодаря нашим методикам сбора данных у информантов, что оставляет меньше места для неверных интерпретаций.
- 6** Ограниченность каждой дисциплины, как и их сила, определяется масштабом этих дисциплин. У антропологов подчас возникают трудности, когда они пытаются связать то, что видят в тех или иных местностях, с крупными тенденциями, а для этого им необходимо опираться на исследования социологов. У социологов противоположная проблема: социологические теории испытывают трудности, пытаясь выработать объяснения, когда их теории вступают в противоречие с повседневной практикой. Таким образом, обе науки могут многое приобрести, обращаясь к работам друг друга для своего рода «проверки фактов». Однако опять-таки я думаю, что часто весьма полезному диалогу между этими науками мешает то, что они фокусируются на разных вещах, это затрудняет их встречу.

Пер. с англ. Аркадия Блюмбаума

ВИКТОР БОЧАРОВ

Между антропологией и социологией¹

1. Антропология, социология и Восток. Если социология возникает как наука для изучения западного общества, то антропология — восточного (традиционного). Нельзя не отметить и изначально прикладной характер социально-культурной антропологии, связанный со стремлением Запада

Виктор Владимирович Бочаров
Санкт-Петербургский
государственный университет
victana2007@rambler.ru

¹ Выполнено при поддержке РФНФ № 12-01-00207.

эффективно управлять зависимыми народами. Поэтому и наибольшее развитие она получила в странах, имевших богатый колониальный опыт, — Англии, Германии и Франции. В этих странах поощрялись подобные исследования, так как от знания ментальности и культур покоренных народов во многом зависела устойчивость колониальных империй. Антропология развивалась и в США, где в недавней истории существовал интенсивный ввоз рабов из колониальных стран, а также решалась проблема интеграции индейцев в американский социум. В России близкой проблематикой занималась этнография. Расцвет этнографических исследований приходится на вторую половину XIX столетия, что опять же было связано с прагматическими целями по проведению реформы 1861 г., когда вестернизированной элите потребовались знания о культуре собственного народа, прежде всего крестьянства, а также многочисленных «инородцев», входивших в состав империи.

Поистине настоящий бум антропология пережила в начале XX столетия. С этого времени благодаря антропологам британской школы она стала позиционировать себя как самостоятельная дисциплина, имеющая свой объект исследования и обладающая собственными методами. Тогда же она порвала с эволюционизмом, осуществлявшим со второй половины XIX в. диктат в европейской науке. Отвергнув принцип историзма при изучении традиционных обществ, на котором базируется эволюционная теория, антропология сделала приоритетным изучение современности. Концепт *общество* был заменен *культурой*, где не нашлось места понятию «пережиток» с его негативной коннотацией. Считалось, что любое явление или идея, пусть сколь угодно архаичные, всегда позитивны в том смысле, что они выполняют в культуре определенные функции, необходимо только установить, что это за функции (Б. Малиновский).

Дистанцируясь от смежных дисциплин, антропологи справедливо считали, что те сформировались при изучении европейских обществ, глубоко отличных от традиционных — объекта их интереса. Тем самым принципиально отвергался европоцентризм при исследовании «периферийных» культур. Этот важнейший постулат антропологической науки не потерял своей актуальности, так как зачастую труды экономистов, юристов, политологов и социологов по развивающимся странам создаются с использованием концептуальных подходов, сформировавшихся в процессе изучения западных систем. Однако применение к объекту познания неадекватных научных подходов неизбежно приводит к ложным выводам.

Главным методом (точнее, техникой сбора материала) стало считаться включенное наблюдение, предполагающее устранение барьера между объектом исследования (культурой) и ученым. Этот метод сформировался естественным путем, так как невозможно было использовать какие-либо иные приемы, разработанные «европейскими» дисциплинами, вследствие отсутствия в большинстве случаев письменных источников, а также вследствие глубоких различий в стилях мышления, создававших серьезные препятствия для вербального взаимодействия. Наблюдение, таким образом, было практически единственно возможным способом получения информации об изучаемой культуре. Но надо было стать «своим», так как «чужак» для представителя традиционного общества всегда обладает «презумпцией зловредности», поэтому, стремясь оградить себя от его деструктивных действий, эту информацию от него всячески скрывали. В результате для постижения культуры приходилось проводить в поле по нескольку лет. Полевая работа и включенное наблюдение и сейчас являются важнейшими ингредиентами антропологии.

Сближение антропологии с дисциплинами, от которых она ранее дистанцировалась, началось еще в 60-х гг. XX в. Этому способствовал крах колониализма, появление на политической карте мира вместо «туземных» территорий новых государств современного типа. По этой причине и антропологи стали привлекать концептуальный аппарат «европейских наук», и представители последних (экономисты, социологи, юристы, политологи), изучая развивающиеся страны, не могли обойтись без данных, накопленных антропологией, а также апробированных ею методов исследования. В результате в рамках антропологии сформировались субдисциплины: политическая антропология, экономическая антропология, юридическая антропология и др. Например, политическая антропология при изучении традиционных обществ стала активно привлекать социологическую концепцию легитимной власти М. Вебера, а «социология развития», ориентированная на изучение развивающихся государств, — использовать антропологические методы.

Если антропологам в большей мере интересен «традиционный сектор», расположенный преимущественно в сельской местности, то социологам — «современный», представляющий собой европеизированный жизненный уклад, локализующийся преимущественно в крупных городах. В первом случае исследуется динамика социокультурных изменений, происходящих под воздействием западных культур, в чем антропология приобрела достаточный опыт еще в колониальный период. Во втором, как показала практика, в центре внимания оказывается

сфера неформальных отношений в различных областях деятельности: политической, экономической и т.п. При исследовании реалий данных государств обнаружилось, что под покровом внешних европейских форм скрывается совсем иная жизнь, протекающая по неписаным законам, во многом обусловленным традициями. Без учета этого фактора исследования какой-либо сферы общественной жизни оказываются малопродуктивными, т.е. научные выводы слабо отражают объективную реальность. Добыть же информацию по «неформальным» зонам, используя классические социологические методы (опросы, анкетирование, интервью), оказалось весьма затруднительным делом. Информанты боятся разглашать «чужакам» «секретную» информацию, но уже по другой причине, из-за возможных санкций со стороны теневых структур, а нередко и сами являются непосредственными акторами «неформального процесса». Получается, таким образом, что именно антропология с ее базовым методом включенного (участвующего) наблюдения имеет наибольшие шансы на получение объективной информации, необходимой для полноценного научного исследования. Здесь различия между «социологом» и «антропологом» весьма условны. Тем не менее научные подразделения, занимающиеся подобного рода проблематикой, нередко предпочитают именоваться «социологией» из соображений политкорректности, так как «антропология» запятнала себя изучением «туземцев».

2. Социология и Антропология: Общество и Культура. Статус социологии и антропологии в разные периоды времени менялся в зависимости от взгляда на социальную материю той или иной научной школы или направления. Это представление о данном виде материи, с одной стороны, как некоей универсалии, функционирующей и развивающейся в пространстве и времени по общим законам, с другой же — как об уникальном образовании, сводимом к конкретному социуму, бытование и развитие которого не подвластно каким-либо общим законам. Если первый взгляд более соотносился с категорией *общество*, то второй — с *культурой*.

Общество — базовая категория социологии, изначально связавшей свой интерес с изучением современного (капиталистического) социума. Действительно, когда она возникла в первой половине XIX в., казалось, что универсализация социальной материи неизбежна. В частности, людские отношения в условиях промышленной революции и урбанизации все более становились массовыми и обезличенными. Достижения же в области естественных наук, особенно в биологии (Ч. Дарвин), вселяли уверенность в том, что человеческое общество как разновидность материального мира также подчинено не-

ким единым законам развития. Поэтому социология сразу же была причислена ее основателем О. Контом к естественным наукам в иерархической последовательности: математика, астрономия, химия, биология, социология. *Таким образом сложилось разделение труда, в котором изучение современного общества закреплялось за социологией, а исследование ранних общественных форм — за антропологией.*

В результате антропология в данной парадигме стала рассматриваться как своего рода «социология первобытности». Например, подобного мнения придерживался создатель структурно-функционального направления в антропологии А.Р. Рэдклифф-Браун, который, кстати, в отличие от своего учителя Б. Малиновского не использовал понятия *культура*, ограничиваясь *обществом*. Подобное понимание предмета до сих пор находит поддержку среди ученых. Например, Н.М. Гиренко назвал свой обобщающий труд, исследующий законы функционирования традиционного общества, «Социология племени».

В то же время социологи хотя специально и не изучали ранние общественные формы, но использовали антропологические данные при создании макросоциологических теорий. Уже О. Контом были названы три стадии интеллектуальной и социальной эволюции — закон развития человечества на всем протяжении его истории (теологическая, или фиктивная, метафизическая, или абстрактная, научная, или позитивная). Другой отец-основатель социологии Г. Спенсер также предложил универсальную эволюционную схему, которая завершалась *надорганической фазой* (промышленное общество), которая и является предметом социологии. Э. Дюркгейм — создатель классической социологии — считал, что сложные общества (с «органической солидарностью») состоят из простых (с «механической солидарностью»). К. Маркс и Ф. Энгельс разработали известную формационную теорию развития общества. Первая, или «первобытная», формация, по их мнению, обязана повториться «на новом витке» в виде коммунизма.

В западной социологии развитие развивающихся обществ рассматривалось начиная с 60-х гг. в рамках неозволюционистской *теории модернизации*. Предполагалось, что модернизационное развитие, понимаемое как борьба старого, отжившего (традиции) с новым, передовым (новации), привнесённым Западом, приведет к появлению цивилизованных обществ. Однако реальность «третьего мира» не совпала ни с марксистскими прогнозами, ожидавшими здесь появления социалистических государств, ни с прогнозами либерального Запада.

Сегодня социальная динамика в социологии рассматривается в рамках теории *глобализации*. Глобализация определяется

как превращение мира в «единое место». Мир сжимается, становится единым, не имеющим существенных барьеров и дробления на специфические зоны социальным пространством. Социологическая наука выделяет следующие типы обществ: доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное (подробно см.: [Бочаров 2011а]).

Итак, социология акцентирует внимание на устойчивых универсальных свойствах социальной материи (общество), стремясь сформулировать законы ее функционирования и развития.

Культура в настоящее время рассматривается как базовая категория антропологии или как «ядро наук о культуре» [Адамопулос, Лоннер 2003]. Первая попытка перейти к культуре, отказавшись от эволюционной идеи, была сделана, как отмечалось, в рамках функционализма, что оказало сильное воздействие и на социологию, в которой также была разработана функциональная теория (Т. Парсонс). Ренессанс эволюционной идеи 60-х закончился уже к 80–90-м гг. XX в., когда стало очевидно, что страны, обретшие независимость, вовсе не превратились в цивилизации, а сохранили привычные формы жизни вопреки официально принятым идеологиям и формам правления. Распад СССР, на месте которого вместо ожидаемых демократий возникли авторитарные режимы, порой весьма архаического толка типа восточных деспотий, стал гвоздем, забитым в гроб эволюционно-прогрессивистской модели. Опять же к этому времени полностью скомпрометировала себя идея, связанная с утратой социумом этнокультурных свойств по мере его исторического развития, которую разделяли и либералы, и коммунисты. Ни тем, ни другим нигде не удалось привить свою культуру «малоразвитым» народам, которые не утрачивали свою идентичность (культурную или этническую), она, напротив, повсеместно возрастала.

Маятник качнулся в обратную сторону: взгляд на социальную материю как абстракцию, лишенную индивидуальных (культурных) свойств, изменяющуюся во времени от простых форм к сложным, сменился признанием ее уникальности, не подвластности общим законам развития. Отметим, что подобный взгляд на социальную материю сложился в рамках немецкой антропологии еще в XVIII в., где культура отождествлялась с «национальным духом», который сохраняет свою идентичность на всем протяжении истории (Й.Г. Гердер). Этот постулат стал впоследствии базовым для многих представителей немецкой школы (Фробениус, Гребнер, Ратцель, Шпенглер). Отрицалось понятие «прогресса», за исключением области техники (Ф. Боас, продолжатель немецкой школы в США).

Конец же XX в. ознаменовался возникновением «критической теории», провозгласившей, что все построения западной науки о странах и народах Востока не реалистичны, а только конструируют западный миф о Востоке [Саид 2006]. Э. Саид обвинил ученых в европоцентризме, являющемся проявлением западного империализма. Главный концептуальный принцип подобных работ: любое представление о Другом является субъективным и искаженным, отражающим только собственное восприятие Другого, и, таким образом, Запад характеризует не Другого, а себя.

Понятия «эволюция», «развитие», «прогресс» постмодернизм и вовсе объявил «вне закона». Отрицается сам факт существования традиционного общества, которое-де «иллюзия», сконструированная антропологами. Поэтому этот привычный объект исследования антропологии должен быть заменен Культурой [Купер 1988].

Вот почему антропологи при изучении Востока избегают говорить о «недоразвитости» тамошних обществ, предпочитая идентифицировать объект своего исследования как современные (и уникальные) культуры [Тишков 2001].

Отметим, однако, что неозволюционные идеи продолжают использоваться антропологами, занимающимися проблемой происхождения «вождества — раннего государства» (Классен, Скальник, Карнейро, Крадин, Попов).

3. Об антропологизации социологии. Часть социологов, разочаровавшись в теории модернизации, заговорила, наоборот, о «ретрадиционализации» Востока. Они констатируют в обществах данного региона, включая постиндустриальные (Японии, например), присутствие мощных пластов «архаики», определяющих, по сути, общественные процессы. Опять же именно Восток, опровергая тезис Ф. Фукуямы о наступившем «конце истории», демонстрирует интенсивную социально-политическую динамику, в которой «архаические» структуры играют не последнюю роль, хотя осуществляется она действительно под либеральными лозунгами [Фукуяма 1992].

Поэтому социологи все чаще обращаются к «традиционному обществу», полагая, что именно на этом пути они смогут объяснить данные процессы на Востоке. Например, современное российское общество может рассматриваться как «традиционное», в котором происходит демодернизация, возврат к более архаичным формам, «причем процессу “архаизации” подвержено большинство населения страны» (Ахизьер, Кара-Мурза). Утверждается также, что современные реалии могут быть объяснены только с помощью теоретической модели доиндустриального (феодалного) общества [Шляпентох 2008].

Однако отнесение России к «традиционному обществу» выглядит весьма сомнительной методологической новацией. Трудно отрицать, например, быстрое развитие товарно-денежных отношений, появление значительного социального слоя не только крупных, но средних и мелких предпринимателей и многое другое, что мало укладывается в утверждения об «архаизирующемся» социуме.

Что касается Африки, то и здесь между традиционным вождем и президентом современного африканского государства, зачастую получившим образование в престижном западном вузе, которых нередко отождествляют, есть существенные различия.

Еще более абсурдным выглядит отнесение к традиционному обществу высокоразвитых стран Востока, в которых наличие мощных пластов «архаики», проявляющей себя во всех общественных сферах, более чем очевидно.

В своих теоретических конструкциях, однако, социологи пользуются преимущественно устаревшими сведениями о традиционном обществе (как правило, из работ Э. Дюркгейма или Л. Моргана). Это и понятно, ведь оно никогда не входило в сферу их интересов. В результате выводы делаются опять в рамках все той же теории модернизации, где, наоборот, «традиция» побеждает «модерн».

Представляется, что в этом направлении сотрудничество антропологов и социологов весьма перспективно. На повестке дня создание теории развития Востока, который в отличие от Запада эволюционирует за счет внешнего ресурса, а именно — западной культуры. Для осуществления этой цели необходимо преодоление еще сохраняющегося разделения труда. Антропологи, знающие традиционное общество, его противоречия и конфликты, могут вскрыть его собственную динамику, которая актуализируется под влиянием западной культуры, не сводя ее лишь к борьбе между закостенелой «традицией» и «модерном», как это делают социологи. Создание подобной теории и даст ответ на вопрос о роли «архаизмов» в общественной структуре Востока (подробно см.: [Бочаров 2011б; 2011в]).

4. Постмодернистская антропология, или «Конец науки».

Крен в сторону уникализма в восприятии социальной материи, свойственный современной антропологии, или, точнее, направлению в антропологии, возникшему под влиянием постмодернизма, таит, на мой взгляд, в себе угрозу «конца науки». Действительно, уникализация объекта неизбежно влечет за собой персонализацию метода. В крайнем варианте

это приводит к полному отождествлению субъекта (т.е. ученого) и объекта («объективация субъекта»), когда эмоциональные переживания исследователя, погруженного в изучаемую культуру, объявляются критерием истины. Фактически наука замещается искусством как одним из способов познания объективной реальности. Мне приходилось беседовать на этот счет с известным исследователем и знатоком африканских культур. Описывая конкретную ситуацию «в поле», он объяснял избранное им поведение «чувством», которое он «не мог объяснить по-русски». Однако он не смог, вполне справедливо, мне гарантировать, что я, также овладев в совершенстве местным языком, испытаю в той же ситуации аналогичные «чувства», которые определяют мое поведение.

Не находя аналогий в других культурах, ученый при анализе тех или иных реалий, как правило, прибегает к морально-этическим и нравственным оценкам конкретных персон, заменяя тем самым науку публицистикой. Например, причины «катастрофического» положения России после развала СССР видятся «в аморальном поведении советской власти» [Смирнов 2001: 257]. Причины «неудач» России по пути к цивилизации увязываются с тем, что «у власти в России всегда были плохие люди» [Раушенбах 1999]. Развал СССР трактуется как результат личных взаимоотношений Ельцина и Горбачева, а события на постсоветском пространстве, «чеченская война» — Ельцина и Дудаева.

5. Антропология, социология и «повседневность». Один из трендов современного обществоведения — это полное погружение в повседневность, при отказе от «объективистских» теорий, в той или иной мере замешанных на эволюционизме. Социологи практически заимствовали у антропологов «этнографические методы», придя к выводу, что информация, полученная посредством наблюдения «изнутри», коренным образом отличается от сведений, добытых посредством их классических методов. Они же внесли весомый вклад в методологические разработки, назвав новые методы «качественными» [Ильин 2006]. И все-таки можно провести границу между антропологией и социологией в данном качестве. *Если социология преимущественно ориентирована на выявление иерархии, статусов, ролей или социальных сетей (т.е. универсалий), то антропология изучает формы их воплощения, которые в каждой культуре уникальны.*

При этом социолог, отбросивший глобальные теории, имеет весьма ограниченные возможности по рационализации / интерпретации собранных материалов. Он ориентирован сегодня либо на создание микротеории исходя из исследованного «случая», либо следует в своих выводах фактически той же универ-

салистской парадигме. Например, докладчик в ЦНСИ, презентуя свое исследование по мигранткам в Петербурге, сделал в том числе вывод о том, что в азиатских республиках СНГ грядет «сексуальная революция». Антрополог же, знакомый с консервативностью традиционалистских культур Востока, не будет столь категоричным. Он знает, что даже в наиболее вестернизированных странах гендерные поведенческие стереотипы не изменились радикальным образом. Более того, современные технологии работают на их укрепление. В частности, в этих государствах получила широкое распространение практика по искусственному восстановлению девственности хирургическим путем. Причем к этим весьма дорогостоящим операциям прибегают представительницы прекрасного пола различных социальных страт. Фирмы, занимающиеся подобного рода операциями, существуют и в Петербурге, их услуги также пользуются достаточным спросом среди мигранток.

Зная культурно-исторический контекст «своего» социума, антрополог способен даже прогнозировать события в случае внедрения той или иной новации. Так, юридические социологи, также ориентированные на изучение правоотношений качественными методами, могут констатировать разрыв между тем, что задумано и написано в законах, и тем, что получилось на самом деле. Антрополог же способен объяснить причины этого разрыва исходя из приоритетов культуры, в которой тот или иной закон принят. Например, априори можно было утверждать, что в стране, где до сих пор «дары», полученные от власти, пользуются высочайшим престижем у населения (признание заслуг «отцом-государством»), закон о замене льгот деньгами не будет воспринят (закон № 422). Действительно, вышедшие несколько лет назад на улицы Санкт-Петербурга пожилые люди возмущались именно утратой к ним уважения со стороны государства.

Антропологи, изучающие повседневность индустриальных (и постиндустриальных) обществ, во многом все-таки отталкиваются от «архаизмов», которые они способны «увидеть». «Архаизмы» фиксируются в различных сегментах данных социальных систем и особенно в субкультурах: этнических, молодежных, религиозных, криминальных и др. Данные образования демонстрируют воспроизводство социальных и мировоззренческих характеристик, форм межличностного взаимодействия, свойственных традиционному обществу. Яркий пример — армейская «дедовщина», воспроизводящая в основных чертах наиболее древние социальные системы, построенные на «возрастных классах». Данный феномен ярко описан и в криминальной субкультуре [Самойлов 1990].

Опять же субкультуры представляют собой замкнутые «миры», которые также регламентируют жизнь своих адептов неформальными предписаниями (обычным правом), не подлежащими разглашению «чужакам», так как они зачастую вступают в конфликт с официальными законами.

Словом, антрополог, «выросший» на традиционном обществе, имеет дополнительные возможности для интерпретации добытых сведений, видя в современном контексте реализацию тех или иных его свойств. Так, американский антрополог, выявив включенным наблюдением неформальную иерархию среди конгрессменов США, основанную на социально-возрастном принципе, а также другие характеристики, свойственные «архаическому» обществу, обоснованно соотнес высший законодательный орган США с «племенем» [Weatherford 1981].

Отечественный исследователь, проанализировав феномен «команды» в современной российской политической культуре, обнаружила порождаемые акторами политического поля символические смыслы, коррелирующие с молодежными практиками традиционного общества. В частности, она пришла к выводу, что матрица «команды», которая в основных чертах соотносится «с традиционной мужской молодежной компанией», переносится и в политическую среду, «по крайней мере на символическом уровне» [Щепанская 2007].

Уже эти два материала дают основание поразмыслить об «архаизмах» на Западе и Востоке. Если в первом случае они незначительно деформируют официальные демократические процедуры, то во втором — кардинально их видоизменяют. «Матрица» реально, а не только «на символическом уровне» определяет поведение членов «команды», что обуславливает совсем иное качество процесса. Так, бывший Генпрокурор РФ Ю. Скуратов, который, как следует из его же слов, голосовал в 1996 г. за Б. Ельцина, бесцеремонно, по его же словам, нарушавшего конституционные нормы, обосновывал это так: «считал — “против” голосовать нельзя: все-таки мы находимся в одной команде. А закон команды — это закон команды: на чужаков не играть, в свои ворота мячей не забивать, удары чужаков не пропускать» [Скуратов 2000: 70]. Словом, главный блюститель государственного закона на самом деле подчиняется «закону команды» (обычному праву), который и в традиционном обществе распространялся исключительно на «своих» (подробно см.: [Бочаров 2004]).

Словом, социологи и антропологи, имея один и тот же объект исследования и используя практически тождественные методы, имеют разные возможности для рационализации / интерпретации добытых материалов.

Библиография

- Адамопулос Д., Лоннер У.Дж.* Культура и психология на распутье: историческая перспектива и теоретический анализ // Психология и культура / Под ред. Д. Мацумото. СПб.: Питер: Питер Принт, 2003. С. 37–72.
- Бочаров В.В.* Антропология, социология и востоковедение // Введение в востоковедение. СПб: Каро, 2011а. С. 75–88.
- Бочаров В.В.* Чеченская война как социально-возрастной конфликт // Антропология социальных перемен. М.: РОССПЭН, 2011б. С. 615–631.
- Бочаров В.В.* Общество и культура в эволюционном процессе // Антропологический форум. 2011в. № 14 Online. С. 272–282. <<http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/014online/bocharov.pdf>>.
- Бочаров В.В.* Обычное право собственности и «криминальное государство» в России // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Т. 7. № 4. С. 173–199.
- Ильин В.И.* Драматургия качественного исследования. СПб.: Интерсоцис, 2006.
- Раушенбах Г.* У нас власть плохих людей // Мир за неделю. 1999, 18–25 декабря. № 17.
- Саид Э.В.* Ориентализм: Западная концепция Востока. СПб.: Русский мир, 2006.
- Самойлов Л.* Путешествие в перевернутый мир // Нева. 1990. № 4. С. 150–165.
- Скуратов Ю.* Вариант дракона. М.: Детектив, 2000.
- Смирнов П.И.* Социология личности. СПб.: СПбГУ, 2001.
- Тишков В.А.* Общество в вооруженном конфликте (этнография чеченской войны). М.: Наука, 2001.
- Фукуяма Ф.* Конец истории и последний человек. 1992. <<http://nietzsche.ru/look/actual/fukuama/?curPos=1>>.
- Шляпентох В.* Современная Россия как феодальное общество. Новый ракурс постсоветской эры, М.: Столица-Принт, 2008.
- Щепанская Т.Б.* Феномен «команды» в российской политической культуры советского и постсоветского периодов // Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии. СПб.: СПбГУ, 2007. Т. 2. С. 243–292.
- Kuper A.* The Invention of Primitive Society: Transformation of an Illusion. L.; N.Y.: Routledge, 1988.
- Weatherford J.* Tribes on the Hill. N.Y.: ABC-CLIO, 1981.

ВИКТОР ВАХШТАЙН**Конституция социальных наук**

Отношения между социологией и социальной антропологией напоминают отношения между двумя европейскими государствами на пике евроинтеграции: чем чаще политики говорят о «едином пространстве», «общей судьбе» и «прозрачности границ», тем больше мелких, но существенных различий между соседями обнаруживается в бытовом общении. Культурный обмен и взаимовыгодные торговые операции периодически оборачиваются демонстрациями, задержаниями, депортациями, сожжением флагов и хулиганством на почве междисциплинарной неприязни.

Относительная автономия «идеологического» и «повседневного» характеризует не только мир большой политики, но и научную коммуникацию. Идеология двух «М» (междисциплинарность & мультипарадигмальность), как и любая идеология «открытых границ», исключительно удобна для проектной работы. Мы все выигрываем от беспешинного перемещения людей, идей и ресурсов между дисциплинарными регионами. Причем выигрываем постоянно, за счет кумулятивного эффекта. Представьте на минуту, что антропологам запретят оппонировать на социологических защитах, социологам — публиковаться в антропологических журналах, а тем и другим — зарабатывать в проектах, придуманных экономистами. Представьте, что книги, в которых слишком много ссылок на психологов, будут отклоняться сериями по философии или кандидатам исторических наук запретят читать лекции по политологии. Разные дисциплины в разной степени склонны к изоляционизму, но даже самые упертые ММ-скептики вынуждены сегодня признать: междисциплинарная интеграция — это выгодно, хотя на практике мультипарадигмальность, как правило, означает

Виктор Семенович Вахштайн

Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
Москва
avigdor2@yahoo.com

банальное невладение языком своей дисциплины, а междисциплинарность — священное право каждого быть социологом для философов, философом для антропологов и антропологом для экономистов.

Для официальной ММ-риторики граница между социологией и социальной антропологией является противоестественным образованием, препятствующим свободной конкуренции профессионалов из смежных областей за символический (и не только) капитал. Однако любой ученый, всерьез воспринявший ММ-идеологию как руководство к действию, рискует оказаться в ситуации эксклюзии. Такая эксклюзия может выражаться по-разному:

а) в виде отзыва на диссертацию, заканчивающегося словами: «автор три года просидел в поле и, видимо, на чтение релевантной литературы у него не осталось времени, а потому данный текст вряд ли может быть защищен по специальности 22.00.04»;

б) в виде рецензии на статью, включающую в себя комментарий: «автор глубоко погрузился в социальную теорию, но лучше бы он больше внимания уделил систематизации своих этнографических наблюдений и описанию биографий информантов; текст в таком виде публиковать нельзя»;

в) в виде заключения на проект: «к сожалению, приводимые автором данные мало что говорят о природе якобы изученного им феномена».

Формулы эксклюзии также варьируются. Недавно один коллега-экономист всерьез поинтересовался: зачем нам в исследовательском проекте по «Стратегии 2020» нужен антрополог, если мы не собираемся измерять черепа информантов. (Чтобы выстроить границу между социологией и экономикой, с одной стороны, и социальной антропологией — с другой, он риторически стер границу между социальной и физической антропологией.)

Подобного рода эксклюзии столь распространены, что порой выполняют в повседневном обиходе науки функцию международных кодов солидарности: «Мы с тобой одной крови, ты и я». Социолог из России и социолог из Германии в непринужденной беседе маркируют свою общность, критикуя работу социолога-англичанина за «этнографизм» и избыточную описательность. Дисциплинарные традиции сильнее национальных: за «этнографизм» могли поплатиться и классики социальных наук, и коллеги по кафедре.

Два года назад в амстердамском Свободном университете защищалась диссертация по антропологии, посвященная изуче-

нию «еврейского бизнеса» в Юго-Восточной Азии¹. После присуждения степени и краткой речи научного руководителя члены комиссии, облаченные в мантии кальвинистско-черного цвета, отлучились выпить шампанского на фуршете по случаю торжественного события. За первым столиком социологи — члены немногочисленного диссертационного совета и их окружение — возмущались манерой письма новоиспеченного доктора:

— Он пишет “J-factor”! Вот так и пишет: «E-фактор обозначает наличие особого типа доверительных связей между еврейскими бизнесменами». Человек протусовался несколько лет с индонезийскими евреями, что-то про них понял, а потом, извините за выражение, объективировал свое понимание вот в таком вот нехитром концепте!

— Не обращайтесь внимания. У этнографов так принято. Это их «Э-фактор».

За соседним столиком несколько антропологов, из которых один резко критиковал диссертационный текст на защите, вели параллельное обсуждение:

— Ну вот зачем ему понадобилось лезть во все эти теории материальности? Какие актанты? Какие сети? Какое еще новое слово в исследованиях диаспор? Зачем в исследованиях диаспор Латур и Ло? Дочитываешь до этой главы и чувствуешь, что сходишь с ума. Все то же самое можно было бы сказать и без новомодных *complexity theories*, при этом работа ровным счетом ничего бы не потеряла.

Спустя полгода я описал эту ситуацию Анн-Мари Мол, профессору университета Амстердама, а по совместительству — соратнице тех самых Латура и Ло.

— Я знаю этого молодого человека, — мрачно прокомментировала она. — Это я зачем-то порекомендовала ему почитать несколько текстов по акторно-сетевой теории. Последствия плачевны: он и для антропологов теперь не свой, и для социологов своим не стал.

Итак, если различия между социологией и социальной антропологией суть не «искусственные образования», сохранившиеся лишь благодаря инерции словоупотребления, структуре Академии наук и кодификаторам специальностей, если они существуют intersubjectively в повседневном обиходе науч-

¹ “The Jewish Diasporascope in the Straits. An Ethnographic Study of Jewish Businesses Across Borders”. Полный текст диссертации находится здесь: <<http://dare.uvu.vu.nl/bitstream/1871/15811/5/9294.pdf>>.

ной коммуникации, нам придется дать этим различиям хотя бы приблизительную концептуализацию. Начнем с того, что поместим в скобки привычный в подобных обстоятельствах ход мысли: якобы дистинкции эти «конструируются социально» и производятся в «потоке практик» различных агентов, делающих свои ставки в игре дисциплин. Социологическое рассуждение данного толка начинается с риторического вопроса: «Вы же не считаете, что отличия социологов от антропологов существуют сами по себе, объективно, как некая внешним образом полагаемая реальность?» И поскольку мало кто сегодня согласится с таким примордиалистским, субстанциалистским и объективистским пониманием дисциплинарных различий, социолог получает карт-бланш на серию последующих ходов: «Значит, эти различия сконструированы и произведены, значит, существует некоторая скрытая машинерия поддержания границ между социологией и этнографией, а также другая машинерия, скрывающая первую машинерию от постороннего взгляда, что позволяет различиям между дисциплинами маскироваться под нечто более фундаментальное». Данное рассуждение выстроено на оппозиции «объективное / социально сконструированное», пришедшей в социологической теории на смену классической дихотомии «объективное / субъективное».

Теперь давайте поместим это рассуждение в скобки. В какой степени его убедительность зависит от бэкграунда читателя? Точнее от того языка, на котором оно будет прочтено, распознано, осмыслено? Рискну предположить, что и социологи, и социальные антропологи в равной степени (или с незначительными расхождениями) распознают эту цепочку умозаключений в качестве осмысленных и, более того, «соответствующих действительности». Психологи и экономисты, вероятно, будут более скептичны. Их представления о действительности строятся на иных аксиоматических допущениях.

Я привел этот пример не в качестве доказательства (что потребовало бы куда больших теоретических усилий и другого жанра повествования), а в качестве иллюстрации — социология и социальная антропология разделяют ряд общих, принимаемых на веру и не требующих обоснования утверждений, которые кажутся проблематичными представителям смежных дисциплин. *Различия между социологией и социальной антропологией кардинальным образом отличаются от различий между социологией и психологией, социологией и экономикой. Это не языковые, а жанровые различия.*

Языковыми различиями мы будем называть существенные различия в когнитивных стилях, прежде всего в механике опи-

сания и объяснения. Когнитивный стиль — совокупность операторов, делающих возможным познание *per se*. Прежде всего это *оператор демаркации*, оператор проведения различий. Например, исследователь говорит: «Границы дисциплин суть социально сконструированные дистинкции, а не отражение естественных различий, существующих между науками». Он тем самым провел границу, но не между социологией и этнографией, а между границами «естественными» и «социально сконструированными». Это конститутивное различие. Следующий шаг — отнести границу между социологией и этнографией к «социально сконструированным».

Второй оператор — *оператор атрибуции релевантности*. Автор не просто проводит границу между естественным и сконструированным социально, он недвусмысленно наделяет регион «социально сконструированного» априорной значимостью: «Граница между социологией и антропологией сконструирована искусственно, но это не делает ее менее реальной, напротив, в нее инвестированы усилия и ресурсы многих поколений агентов, а значит, эти границы суть реальности особого рода»¹.

Если система различений — в большей степени логический оператор, то система релевантностей — это оператор присвоения значимостей. Исследователь говорит: «Мы занимаемся Y, а не X, потому что именно Y имеет значение». Откуда это значение взялось — вопрос выбора стратегии обоснования. Например, исследователь может сказать, что Y важнее X, потому что оно его «определяет» (т.е. установить отношения детерминации). Или потому что X — «всего лишь» частный случай Y. Или потому что «на самом деле» X — это «отражение», «превращенная форма», порожденная «ложным сознанием», а подлинную природу X составляет Y. Наконец, он может просто сказать: «Мы занимаемся Y, а не X, потому что X существует только в воображении обывателей и некоторых поверхностных исследователей». Радикальные стратегии обоснования выглядят по-парменидовски парадоксально: «Есть бытие и небытие. Но небытия нет». Дело в том, что вместе с присвоением значимости такие стратегии заодно присваивают онтологический статус (т.е. утверждение чего-то в качестве «реально существующего»). Поэтому социологам недостаточно сказать: есть границы «естественные» и «социально сконструированные», им важно показать, что все на первый взгляд «объективные» границы на самом деле являются результатами чьих-то усилий объективации.

¹ Нетрудно заметить принципиальное отличие логики разбираемого здесь когнитивного стиля от логики ММ-идеологии. Дело в том, что идеология междисциплинарности & мультипарадигмальности является инструментом политической, а не познавательной активности и потому не обладает собственным когнитивным стилем.

Третий оператор — *оператор дескрипции*. Проведя различие и признав релевантной лишь одну из различных сторон, мы должны дать этой стороне первичное описание, пользуясь выбранным конечным словарем. Ричард Рорти использует понятие «конечный словарь» для указания на всю совокупность риторических элементов той или иной исследовательской программы: от базовых категорий и концептуализаций до метафор и образных сравнений. «Словарь» — потому что эта совокупность доступна кодификации. «Конечный» — потому что исследовательская оптика представляет собой «замкнутую систему». Каждому новому феномену она будет подбирать описания из уже имеющихся ресурсов воображения. В некотором смысле конечный словарь есть арсенал всех доступных исследователю (в рамках данной исследовательской программы) способов описания своего объекта.

Первичное описание, как правило, глубоко метафорично, превратить метафоры в концепты — задача последующей концептуализации. Приведенное выше рассуждение о дисциплинарных границах выстроено на метафоре политической игры — одни агенты-игроки «вкладываются» в проведение и поддержание междисциплинарных границ, другие — используют ММ-идеологию для их стирания. Но это, конечно, далеко не единственная метафорика, делающая возможным такой анализ соотношения дисциплин. Есть множество на первый взгляд объективистских логик мышления (т.е. моделей, признающих различия между дисциплинами, производными от фактически существующих различий между их объектами), которые используют те же самые метафоры и риторические формулы. Например, высказывание «Объект социологии кардинально отличается от объекта социальной антропологии» может соседствовать с высказыванием «Социологи и антропологи поддерживают границы своих дисциплин, потому что эти границы скреплены авторитетом их профессиональных сообществ». Оператор дескрипции менее жестко связан с операторами демаркации и релевантности, чем первые два оператора друг с другом. У механики описания есть та степень свободы, которой нет у механики различений¹.

¹ Впрочем, ответ на этот вопрос потребовал бы иного типа анализа. Возможно, более последовательной является позиция, согласно которой «нет различений и релевантностей без конечного словаря», а следовательно, третий оператор на самом деле является первым. Если язык описания первичен, то все наши демаркации — даже самые глубинные и конститутивные — суть производные от используемых имен. Напротив, если мы исходим из приоритета демаркации, т.е. «мыслим различиями, которые лишь затем облачаем в слова», появляется возможность говорить о некотором до-теоретическом «исходном коде». А значит, между различениями и семантикой конечного словаря появляется зазор, брешь, разрыв, разводящий логическую и риторическую стороны познавательного усилия.

Наконец, четвертый оператор когнитивного стиля — *оператор объяснения*. Объяснения могут быть по-позитивистски жесткими («границы дисциплин определяются наличием ресурсных игроков, заинтересованных в их поддержке»), умеренно историцистскими (такова веберовская операция «каузального сведения»), а могут носить характер простого указания на взаимосвязь («мы видим, что когда ставки в игре растут, границы дисциплинарных полей становятся менее прозрачными»). Далеко не все объяснения каузальны, но все предполагают операцию феноменальной редукции, т.е. приведения одного феномена к другому: дисциплинарных границ — к границам игровых альянсов, способа объяснения — к исторически сложившейся научной практике, делового успеха — к «еврейскому фактору».

Четыре описанных элемента — четыре оператора, выполняющих (или не выполняющих) отведенную им работу. Пока они работают слаженно в едином ансамбле, машина познания не дает сбоев. Она не барахлит, не останавливается на полпути, не разваливается на части, не перегревается из-за трения с действительностью. Благодаря их работе мы действительно можем что-то видеть и объяснять. Этих элементов, конечно, больше. Например, мы ничего не сказали о «сцеплении» или «коробке передач», связывающих аксиоматику и оптику исследования с прагматикой действий исследователя. Но для целей нашего анализа достаточно и этих четырех. Оператор демаркации конституирует внешние и внутренние границы — эксплицитные и имплицитные различия. Оператор релевантности распределяет значимость и онтологический статус. Оператор дескрипции выстраивает описание объекта с использованием доступных ресурсов воображения. Оператор объяснения наделяет причиняющей силой и производит феноменальную редукцию. На выходе мы получаем нарратив большей или меньшей степени убедительности и герметичности.

Мы предприняли этот экскурс в эпистемологию с единственной целью — показать, что в когнитивном отношении между социологией и социальной антропологией различия минимальны. Социология и антропология используют одни и те же механизмы демаркации и релевантностной фокусировки. (К примеру, одержимость исследованием «границ» — свойство обоих когнитивных стилей.) Конечные словари антропологов являются также конечными словарями социологов. И разница скорее в том, *как именно* они ими пользуются. Собственно, эту разницу я и назвал — возможно, ошибочно — жанровыми отличиями. Попробуем перечислить неко-

торые из них в порядке предельно поверхностных гипотетических обобщений:

1. Социологическое повествование в норме строится на принципе «метаописания»: язык исследователя и язык объекта исследования не сосуществуют на равных основаниях в тексте. Если дистанция между прямой речью информанта и авторским аналитическим метанарративом не выстроена достаточно внятно, автор-социолог может быть обвинен в нарушении жанрово-дисциплинарной конвенции (обвинение «парафраз вместо анализа»). Напротив, жанр «насыщенного описания», к примеру у Клиффорда Гирца, не предполагает этого жанрового требования.

1.1. Как следствие, в жанре этнографического повествования язык описания и конечный словарь исследователя менее проблематичны и реже становятся предметом рефлексии. (Это не значит, что социально-антропологическое исследование менее рефлексивно, это значит, что у него «другая рефлексия», необязательно связанная с теоретическим языком.)

1.2. Конечный словарь социологического исследования — опять же в норме — задается выбранной теоретической перспективой. Это правило не является обязательным для исследователя-этнографа. Этнограф может искренне полагать, что его язык описания ему подсказал сам объект.

2. Социологическое повествование требует построения эксплицитной объяснительной модели (в «жесткой» или «мягкой» версии феноменальной редукции). Антропологическое повествование чаще использует имплицитные объяснительные схемы, встроенные (более или менее искусным образом) в само описание.

2.1. Социологические объяснительные модели отличает высокая степень герметичности, связанная с дюркгеймовским принципом «объяснения социального социальным». Социально-антропологический жанр куда менее требователен в этом отношении. Социальный антрополог может позволить себе неслыханную для социолога свободу объяснения — он с легкостью смешивает объяснительные модели, заимствованные из истории, географии, экономики, психологии (а в недавнем прошлом и из психоанализа). Такая эклектика служит источником непрекращающихся подозрений в отношении социальной антропологии — есть ли у нее вообще свой язык описаний или ее специфика определяется исключительно этнографическим методом, а языки она по мере необходимости заимствует из смежных дисциплин? Впрочем, мы уже ответили на этот вопрос выше: конечные словари социологии и социальной

антропологии — пересекающиеся множества. Авторы этих словарей (У.Л. Уорнер, К. Гирц, М. Дуглас, ранний П. Бурдьё etc.) входят в оба пантеона¹.

2.2. Соответственно, вторжение социологии в этнографию (и наоборот) не воспринимается сегодня как *эпистемическая интервенция*. Эпистемические интервенции — это операции переноса объяснительных моделей из одной науки в другую с последующей проблематизацией аксиоматического ядра дисциплины-реципиента. К примеру, успешная интервенция психологии в экономику предполагает а) использование конечного словаря психологии для описания феноменов, традиционно относимых к ведению экономики; б) формирование модели объяснения «экономического психологическим» в духе экономической психологии или поведенческой экономики; в) проблематизацию аксиоматических оснований экономической науки — в частности, идеи *homo economicus*. Чтобы это произошло, аксиоматические основания уже должны быть достаточно расшатаны: когда В. Смит и Д. Канеман писали свои работы, только ленивый еще не усомнился в адекватности экономических представлений о человеческой рациональности, что не мешало экономике самой вести успешные наступательные войны в области наук о поведении (главный экономический империалист Г. Беккер получает Нобелевскую премию в 1992 г., Канеман и Смит — в 2002 г.).

В истории XX столетия мы найдем немало примеров эпистемических интервенций во взаимоотношениях психологии и социологии, социологии и экономики, психологии и экономики, социологии и истории. В каждом таком случае мы обнаруживаем совпадение всех трех условий: проблематизация аксиом, перенос объяснительных схем, импорт словарей. Было ли нечто подобное в отношениях социологии и социальной антропологии?

«Философский словарь» Генриха Шмидта, изданный в Лейпциге в 1932 г., указывает на существование особой «этнологической социологии». В качестве ее ведущих представителей упоминаются Эрнст Гроссе, Адольф Бастиан, Генрих Шурц, Вильгельм Шмидт и Вильгельм Копперс. Эти имена мало что говорят современному социологу. (Возможно, и сами они уди-

¹ Любопытно, что те этнографы XIX–XX столетия, которые отводили «культуре» роль исключительно объясняемого феномена, а источники объяснения предпочитали импортировать из смежных дисциплинарных областей, либо не попадали в поле социологии, либо не задерживались в нем. Исключениями здесь являются ситуации «признания постфактум», когда предложенная этнографом объяснительная модель запоздало переписывается в терминах социологической теории. Поэтому, к примеру, Маргарет Мид и представители направления «Культура и личность» социологами не «считываются», тогда как Грегори Бейтсон оказывается прародителем сразу нескольких социологических словарей.

вились бы, узнав об «этнологической социологии».) Этнологическая социология как проект не состоялась. Тем не менее вся история отношений социологии и социальной антропологии представляет собой непрерывный обмен концептами, объяснительными моделями, аксиоматическими допущениями. Особой «этнологической социологии» не сложилось не потому, что интервенция антропологии в социологию провалилась (как провалились, например, попытки психологического вторжения). Ровным счетом наоборот — потому что она удалась. А точнее, потому что историю этих дисциплин трудно представить без постоянных взаимных интервенций. Вероятно, даже самая жесткая из изоляционистских конвенций в социологии — требование объяснять социальное социальным — не сложилась бы, если бы не сотрудничество Дюркгейма с Моссом¹.

Историческое исследование показывает, как происходило формирование общих аксиоматических оснований антропологии и социологии, как складывались устойчивые каналы концептуального импорта, как общие интуиции закреплялись в конвенциональных метафорах. Переходя к такому типу анализа, мы неизбежно оказываемся в области легенд и сказаний, разделяемых социологами и антропологами. Нас же интересует другой вопрос: где жанровые различия переходят в языковые, т.е. где общие аксиоматические основания уже не гарантируют взаимопонимания представителей двух племен и различие жанровых конвенций становится отправной точкой для размежевания языков.

Впрочем, это предмет отдельного исследования.

БОРИС ВИНЕР

Борис Ефимович Винер
Социологический институт РАН,
Санкт-Петербург
wieneras@yandex.ru

1

Отвечая на этот вопрос, Виктор Вахштайн и Михаил Соколов сказали бы, что понять, чем различаются социология и антропология, очень просто: «Социология — это то, чем занимаются социологи, а антропология — то, чем занимаются антропологи»

¹ Впрочем, это примитивизирующее объяснение. На том же основании можно утверждать, что если бы в интеллектуальном состязании победил не Дюркгейм, а Тард, общее аксиоматическое ядро и непрерывное перекрестное опыление связало бы социологию не с антропологией, а с психологией.

(см., например высказывание о социологии: [Вахштайн 2010: 21]). Тогда остается лишь выяснить, чем различаются эти две категории исследователей. Но это второй вопрос данного «Форума». Пока же придется отвечать на первый.

Очень часто, описывая различия между социологией и антропологией, даже опытные специалисты повторяют одни и те же ошибки. Среди несоциологов существует тенденция сводить все теоретическое многообразие социологии к одному теоретическому течению, а именно к французской социологической школе, родоначальником которой был Эмиль Дюркгейм. Именно такова, например, позиция антрополога-африканиста Виктора Бочарова: «Э. Дюркгейм считал, что социология изучает социальные факты, которые существуют вне индивидов и оказывают на них воздействие. При рождении индивид находит готовыми социальные институты, законы и обычаи, верования и обряды, денежную систему. Они функционируют независимо от него, и он вынужден с ними считаться. “Социальные факты нужно рассматривать как вещи”. Социальная реальность не только автономна, она господствует над индивидами. В этом состоит *социологизм* его концепции» [Бочаров 2011: 178]¹. Социология, по мнению В.В. Бочарова, «преимущественно ориентирована на выявление иерархии, статусов, ролей или социальных сетей» [Бочаров 2011: 173].

Подобное представление о социологии давно устарело. Со временем возникло представление о том, что в социологии с теориями среднего уровня одновременно сосуществуют несколько теоретических ориентаций. Например, Рут Уоллес и Элисон Вулф различают пять основных перспектив: 1) функционализм (в вариантах Парсонса и Мертсона), 2) конфликтную теорию (объединяющую традиции, восходящие к Марксу и Веберу), 3) символический интеракционизм (с подходами Мида, Блумера и Гофмана²), 4) феноменологию (включающую теории Гарфинкеля и Бергера) и 5) теории рационального выбора Хоманса и Блау. Причем первые две перспективы образуют макросоциологию, изучая «крупномасштабные характеристики социальной структуры и ролей». Третья и четвертая перспективы сосредоточены на непосредственных контактах людей и «деталях человеческого взаимодействия и коммуникации». Наконец, теории рационального выбора «концентрируются на решениях и выборах индивида». Три последние перспективы Уоллес и Вулф объединяют в микросоциоло-

¹ В декабре 2010 г. этот же упрек социологам прозвучал от заведующего кафедрой этнологии МГУ Алексея Никишенкова на встрече московских преподавателей с преподавателями и студентами кафедры этнографии и антропологии СПбГУ, на которой я присутствовал.

² В настоящее время в социологии существует тенденция рассматривать драматургический подход Гофмана в качестве самостоятельной социологической перспективы внутри «микросоциологии».

логию [Wallace, Wolf 1991: 5–6]. Очевидно, что дюркгеймовский социологизм можно связать главным образом с функционализмом, в значительно меньшей степени с конфликтной теорией, особенно с ее неовеберовскими версиями, и уж совсем никакого отношения он не имеет к микросоциологии.

Необходимо также заметить, что разрыв с социологизмом в социологии не является каким-то новомодным веянием. Американский историк социальных наук Ф. Рингер пишет, что «как и Зиммель, Вебер рассматривал понимание как один из видов причинного объяснения», и демонстрирует, что интерес к пониманию вызван влиянием на Вебера неокантианцев баденской школы [Рингер 2008: 392]. Что касается находившегося в дружеских отношениях с Вебером Зиммеля, оказавшего заметное влияние на теории рационального выбора, драматургический подход Гофмана и через своего ученика Роберта Парка на символический интеракционизм [Wallace, Wolf 1991: 238, 275, 333], то он сам, помимо того что был социологом, известен еще и как серьезный представитель неокантианской философии. Согласно Рингеру, Зиммель «определял “общество” как совокупность взаимоотношений, а не как сумму личностей, и это соответствовало скорее динамической, чем холистической концепции общественной жизни» [Рингер 2008: 210]. Здесь необходимо только добавить, что творчество Вебера и Зиммеля приходится на то же время, что и Дюркгейма. То есть, даже если забыть о марксизме, в социологии изначально существовало несколько перспектив.

Сложная структура современного социологического знания привела чикагского социолога Эдварда Шилза к следующему заключению: «Социология в настоящее время является несистематической совокупностью знания, полученного посредством изучения целого и частей общества» [Shils 1985: 799].

Современная антропология также не оформилась в унитарную систему. С момента своего зарождения эта дисциплина существовала в виде нескольких крупнейших национальных школ, представители которых за все это время так и не смогли договориться об общем имени для своей дисциплины. И дело не только в названии и формальном определении. Если в США антропология вбирает в себя и археологию, и лингвистическую антропологию, и физическую антропологию, которые обычно изучаются на одном и том же факультете (департаменте), то в Великобритании, судя по интернет-сайтам ведущих университетов, археологические подразделения отделены от антропологических, программы по физической, или биологической, антропологии в некоторых университетах (например, Оксфордском, Кембриджском, Кентском) присутствуют в составе

департаментов или школ антропологии, в других университетах (например, в Даремском, Абердинском, в Школе восточных и африканских исследований Лондонского университета) отсутствуют, а упоминаний о лингвистической антропологии нет вовсе.

В современной России есть учебные подразделения, заявляющие как о своей этнологической, так и о социально-антропологической направленности (см., например: [Соколовский 2008]). Этнологические кафедры сосредоточены преимущественно на исторических факультетах. Некоторые из этих факультетов имеют в своем составе кафедры, где этнология объединена с археологией, а иногда и с другими историческими дисциплинами. В 2007 г. в Интернете можно было найти данные о 10–15 таких объединенных кафедрах. Кафедры социальной антропологии входят в состав других факультетов либо являются общеуниверситетскими. Похоже, что в большинстве случаев они готовят не антропологов, а специалистов в иных областях. К тому же несколько лет назад Министерство образования и науки отказалось утвердить стандарт бакалавриата по социальной антропологии. Подготовка антропологов со специализацией, близкой к лингвистической антропологии, ведется лишь в Русской антропологической школе РГГУ и в негосударственном Европейском университете в Санкт-Петербурге (специальности «социолингвистика» и «фольклористика»). Что касается физической антропологии, то подготовка студентов в этой области осуществляется в основном на кафедре антропологии биологического факультета МГУ и эпизодически на кафедре этнографии и антропологии истфака СПбГУ.

В российских научно-исследовательских заведениях сохраняется преимущественно этнологическая ориентация. Мне удалось разыскать в Интернете лишь три подразделения, включивших в свое название слово «антропология» (если не считать физических антропологов): сектор прикладной культурологии и культурной антропологии Российского института культурологии, Центр истории и культурной антропологии Института Африки РАН и Центр политической и социальной антропологии МАЭ РАН.

Недавно Юрий Березкин констатировал, что «подавляющее большинство участников антропологических конференций не в состоянии оценить материалы друг друга ни теоретически, ни тем более фактически» [Березкин 2009: 22]. Ситуация, конечно, не уникальна для антропологии. Трудно ожидать, что социальный психолог без труда поймет описание любого психофизиологического эксперимента или что историк экономики

с увлечением будет читать статью своего коллеги, специализирующегося на эконометрике.

Недавно я спросил у моего коллеги, заведующего сектором социологии власти и гражданского общества кандидата политических наук Александра Дуки, как он отличает публикации по политической социологии от публикаций по политологии. Дука ответил, что разница видна исключительно по корпусу источников, цитируемых автором публикации. Знакомство с соответствующими источниками начинается в ходе профессиональной специализации на том или ином факультете и кафедре. Отсюда можно заключить, что современные междисциплинарные границы в значительной мере подобны описанному экономистами эффекту колеи, когда выборы решений в настоящем предопределены условиями, сформировавшимися в прошлом (см., например: [David 1985]).

Думаю, что по мере роста интереса социологов к социальным микропроцессам и антропологов к изучению современных урбанизированных сообществ границы между социологией и антропологией будут становиться все более проницаемыми.

2

В антропологии фигура кабинетного теоретика — предмет для насмешек, несмотря на то что и такие исследователи внесли и продолжают вносить значительный вклад в дисциплину. И все же в антропологическом сообществе считается важным пройти инициацию полем. Другая проблема заключается в том, каким должно быть это поле, какова его продолжительность? Богораз со Штернбергом, как и их англоязычные коллеги, считали, что молодой исследователь должен провести среди исследуемой группы без перерывов не менее 13–14 месяцев. Однако в современных российских условиях организовать подобное исследование такой продолжительности сложно.

Большинство российских этнологов, особенно московских и петербургских, судя по всему, посещают объекты своего интереса в основном в один-два летних месяца. Учебный план подготовки студентов-этнологов в СПбГУ предусматривает ежегодную летнюю экспедиционную практику. Трудно переоценить ее значение. Летом 1981 г. после окончания первого курса в составе Западно-Сибирского отряда под руководством Валериана Александровича Козьмина я побывал у тазовских селькупов. Эта поездка произвела на меня совершенно ошеломляющее впечатление. Я решил, что никогда не буду заниматься традиционной этнографией, потому что мне невероятно трудно понять культуру, слишком далекую от той городской среды, в которой я вырос. Моя растерянность, видимо, хорошо была заметна, если учесть, что в этой же экспедиции участвовал сибиряк Олег Бычков, который легко ориентировался

в тайге без компаса и сразу схватывал все нюансы охотничьего промысла селькупов. Валериан Александрович поручил мне собрать из похозяйственных книг информацию о брачных связях населения тех поселков, где мы побывали. Мне также удалось расспросить нескольких старушек о том, кто с кем здесь заключал браки. Это оказалось невероятно интересной темой. К тому же такой материал можно было сравнивать с данными о смешанной брачности в этнографической литературе и, что было самым важным для меня, с моими знаниями об отношениях между украинцами, русскими и евреями на моей родине в Виннице. На втором курсе я напросился поучаствовать в социологическом опросе армян и эстонцев, который проводила Галина Васильевна Старовойтова. А после второго курса мой научный руководитель Александр Вильямович Гадло отправил меня в украинско-молдавскую этносоциологическую экспедицию в Черновицкую область и Молдавию. Таким образом, экспедиционные впечатления вкупе с моими познаниями о городских этнических меньшинствах определили мои последующие научные интересы.

Судя по всему, в настоящее время антропологам из региональных учреждений организовать полевую работу несколько проще, поскольку они могут задействовать разного рода местные ресурсы, опираясь на свой социальный капитал. Если регион сравнительно небольшой по площади с налаженными транспортными маршрутами, то полевая работа возможна не только в летний период. К тому же в этих условиях можно сократить командировочные расходы направляющих учреждений и за счет этого увеличить частоту и длительность научных поездок. К сожалению, по сравнению с рубежом 2000-х гг. уменьшились возможности получить грантовую поддержку экспедиций.

Большинство социологов может обойтись без подобного экспедиционного опыта. Но здесь очень важно иметь хорошее представление об основных социологических перспективах, обо всех группах методов, применяемых в социальных исследованиях, и владеть несколькими из этих методов. Вопрос о методах требует специального обсуждения, поскольку отчетливого представления о них не имеют даже многие социологи, не говоря уже о представителях других социальных наук. Достаточно вспомнить Андрея Николаевича Алексева, который в бытность свою членом Ученого совета СИ РАН неоднократно защищал одного из сотрудников института, справедливо критикуемого за методическую безграмотность, с помощью аргумента, что в социологии все неколичественные методы являются качественными, а исследователь, проводящий качественное исследование, не нуждается в специальных методических знаниях. В. Бочаров полагает, что в социологии приме-

няются «социологические методы (опросы, анкетирование, интервью)» [Бочаров 2011: 176].

Начну с того, что социологических методов, точно так же, как социально-антропологических, политологических или экономических, просто не существует. Есть много разных методов, которые с успехом могут применять как социологи, так и представители других социальных наук. Эти методы состоят из трех основных групп: количественные, качественные и сравнительно-исторические. Социолог должен иметь представление обо всех этих группах, но глубоко разбираться лишь в применении нескольких методов. Норвал Гленн, автор когортного метода и один из моих преподавателей на факультете социологии Университета Техаса в Остине, говорил, что настоящее экспертное знание возможно не более чем по одному методу. Я считаю, что каждому социологу, независимо от того, чем ему придется заниматься в будущем, необходим опыт самостоятельного проведения массового опроса (survey research analysis) со всеми его этапами (выбор дизайна, разработка опросного листа, проведение опроса, обработка данных, написание конечного текста в форме журнальной статьи). Обязательно также иметь представление о возможностях статистических методов. Это знание позволит даже тем, кто имеет дело со статистикой нерегулярно, выбрать квалифицированного специалиста, способного оказать помощь в конкретной ситуации.

Думаю, что помимо теории и методов социолог также должен иметь познания в области социальной стратификации. Дело в том, что наряду с теорией и методами это чуть ли не единственная отраслевая социология, которая пересекается с несколькими десятками других отраслевых социологий, основанных на соответствующих теориях среднего уровня. Таким образом, общие социологические теории (general sociological theories), методы и социальная стратификация создают то дискурсивное пространство, к которому адаптируются остальные отраслевые социологии, обогащая это пространство своими достижениями.

3

Ну, не допускать «вторжения» соседней науки в свою дисциплину недемократично. Это не наш метод. Перспективным представляется сотрудничество социологов и антропологов в таких областях, как изучение религиозности, этничности, групповых идентичностей и особенно города. Любопытно, что библиографическая система классификации Библиотеки Конгресса (Library of Congress Classification) под индексами от NT101 до NT352 помещает литературу по городским исследованиям без разбиения на городскую социологию, антропологию, географию и т.п.

5

Хорошим примером такого случая является обсуждение в антропологической и социологической литературе причин вооруженного конфликта в Чечне. С претензией ответить на этот вопрос в своих монографиях выступают Валерий Тишков и Георгий Дерлугьян, хотя в каждой из книг это лишь один из множества взаимосвязанных сюжетов [Тишков 2001; Дерлугьян 2010]. Тишков заявляет, что его «методологическая позиция исходит из того, что *«исторический и этнический факторы не лежат в основе конфликтов в регионе бывшего СССР, включая Чечню и в целом Северный Кавказ. Это прежде всего современные конфликты современных участников (акторов) социального пространства и по поводу современных проблем и устремлений»* [Тишков 2001: 61; курсив автора. — Б.В.], а его главный вывод: *«До 1991 г., несмотря на советские деформации, Чечено-Ингушетия была динамичным и современным сообществом. Противоречивая этническая политика государства дала противоречивые результаты. Порожденные этой политической проблемы стали частью причин конфликта. Однако исторический и культурный факторы не лежат в его основе, равно как и гипотетическое радикальное отличие чеченцев от остального населения страны. Тем не менее интеллектуальный климат перестройки и наследованный доктринальный этнонационализм создали в Чечено-Ингушетии саморазрушительный хаос мыслей и поступков на базе отрицания прошлого и абсолютизации этнического»* [Тишков 2001: 132–133; курсив автора. — Б.В.].

Получается, что причиной конфликта в Чечне выступила исключительно агентность (agency)¹ без взаимодействия со структурными факторами. О последних у Тишкова есть лишь несколько замечаний. Во-первых, он обращает внимание на «разделение экономики на два сектора: “русский” (нефть, машиностроение, системы жизнеобеспечения населения, инфраструктура) и “национальный” (мелкотоварное сельское хозяйство, торговля, отхожие промыслы, криминальная сфера, пополняемая новыми контингентами населения, вступающими в трудоспособный возраст)». Несмотря на то что промышленности и транспорту не хватало квалифицированных кадров, чеченцам трудно было устроиться инженерами или рабочими в «русском» секторе из-за дискриминации. В то же время 20–30 % трудоспособного насе-

¹ «Когда Гидденс превосходно идентифицирует “агентность” со способностью “действовать иначе”, он также идентифицирует выбор с *возможностью* делать различие: “преобразовательная способность человеческой агентности является способностью акторов вмешиваться в серию событий таким образом, чтобы изменять их курс”. Агентность является необходимым условием преднамеренного поведения и необходимым условием для способности совершать изменение: акторы могут действовать против внешних структур и систем для их преобразования» [Caldwell 2006: 19; курсив автора. — Б.В.].

ления ЧИАССР было экономически избыточным. Во-вторых, большая часть избыточного населения выезжала на сезонные работы («шабашники»). Часть из них вовлекалась в криминальную сферу, и ежегодно 4–5 тыс. чеченцев и ингушей осуждались на длительные сроки [Тишков 2001: 117–118]. В 1960-е гг. в ЧИАССР «происходили такие крайне редкие для других регионов страны проявления межэтнической напряженности, как групповые столкновения, сопровождавшиеся убийствами» [Тишков 2001: 119]. Однако другие источники указывают на сравнительно низкий уровень преступности в 1980-е гг. [Тишков 2001: 120, 122]. Наконец, был заметный разрыв в образовательном уровне коренного населения ЧИАССР и представителей других народов в республике, абитуриенты из числа которых были лучше готовы к поступлению в вузы. Эта ситуация приводила к тому, что зачастую чеченцы и ингуши поступали в вузы благодаря коррупции [Тишков 2001: 130].

Из такого описания совершенно непонятно, почему длительный вооруженный конфликт между значительным сегментом местного населения и федеральным центром произошел именно в Чечне. Обиды на государство были у представителей всех народов Северного Кавказа, переживших депортацию. Уровень образования у них тоже ниже, чем у русских и представителей других некоренных групп. Они тоже в меньшей степени, чем русские, были вовлечены в сферу промышленного производства и транспорта. Они тоже в основном исповедуют ислам. Но массовых сепаратистских настроений здесь не было.

Обратимся к книге Дерлугьяна. В ней говорится о монополии некоренного населения на основные сферы городской жизни, ограничении прописки чеченцев в Грозном, засилье пришлых руководящих кадров в исполнительной власти, промышленности, образовании, здравоохранении, СМИ, МВД и КГБ вплоть до конца перестройки. Особенностью ЧИАССР был запрет на открытие сельских мечетей в 1960–1970-е гг. в отличие, например, от Дагестана, где такого запрета не было. Это привело к росту подпольных суфийских братств в Чечено-Ингушетии [Дерлугьян 2010: 391]. За недостатком места я опускаю описание Дерлугьяном других особенностей социальной структуры чеченского общества. Следующий за изложением событий в Чечне в 1989–1991 гг. параграф посвящен Кабардино-Балкарии. Он начинается со следующего пассажа: «Кабардино-Балкария и Чечено-Ингушетия до осени 1991 г. выглядели так, будто были намеренно выстроены для сравнительного политологического анализа: похожая география, культурные традиции, формальный статус автономных республик. Но, как мы увидим ниже, пропорции соотношения классов и этнических сообществ, местная история, время действия или социальная

конфигурация политического патронажа могут сыграть значительную роль во времена хаоса» [Дерлугьян 2010: 415]. Далее следует описание структурных и культурных особенностей ситуации в КБАССР накануне распада СССР и событий в республике в этот период.

А вот вывод Дерлугьяна о главных особенностях Чечни, позволивших разразиться вооруженной трагедии: «Задолго до исключительного исхода национальной революции ситуация в советской Чечено-Ингушетии отличалась от положения дел на остальном Кавказе. Она скорее напоминала Алжир под властью Франции. Большой современный город, населенный в основном переселенцами из Европы, довлел над аграрной местностью с населением, придерживавшимся в целом традиционного патриархального уклада и мусульманских диспозиций, притом сохранившим память о воинских доблестях и длительном жестоко подавленном сопротивлении» [Дерлугьян 2010: 393].

Теперь вроде бы дело становится более понятным. И тогда возникает вопрос, что помешало Тишкову, в исследовательской квалификации которого не приходится сомневаться и чей ресурсный потенциал как академика и директора ИЭА РАН намного превосходит таковой у Дерлугьяна, простого постоянного профессора Северо-Западного Университета в штате Иллинойс, использовать сравнительный материал по другим северокавказским республикам?

Ответ довольно прост — социолог Дерлугьян знает, что такое контрольные процедуры и зачем их применяют, а антрополог Тишков нет. Представим себе, что мы изучаем зависимость между расовой принадлежностью американских школьников (независимая переменная) и их успехами в учебе (зависимая переменная). По данным разных исследований известно, что в среднем белые школьники более успешны, чем афроамериканцы. У кого-то может возникнуть соблазн объяснить это более высокими умственными способностями европеоидов. Но, если мы введем в качестве контрольной переменной доход родителей школьников, то увидим, что корреляция между расой и успеваемостью является ложной, а более высокие средние результаты белых связаны с более высоким уровнем дохода их родителей, которые могут создать своим детям более благоприятные условия для учебы. Социологи успешно применяют контрольные процедуры не только в количественных, но и в сравнительно-исторических исследованиях. Американские социологи Теда Скочпол и Маргарет Сомерс отмечают: «Логика, вовлеченная в использование сравнительной истории для макропричинного анализа, имеет сходство со статистическим

анализом, который умело обращается с группами случаев с целью контролировать источники вариации, для того чтобы делать причинные заключения, когда доступны количественные данные о большом числе случаев» [Skocpol, Somers 1980: 182]. В качестве примера приводится монография Баррингтона Мура «Социальное происхождение диктатур и демократии»: «“Социальное происхождение” называет три альтернативных политических пути к современному миру: (1) через “буржуазную революцию” к либеральной демократии, (2) через “революцию сверху” к фашизму и (3) через “крестьянскую революцию” к коммунизму. С помощью причинных переменных, относящихся к силе буржуазии по отношению к помещикам, к способам сельскохозяйственной коммерциализации и к типам крестьянских общин и отношениям между крестьянами и помещиками, Мур пытается объяснить, почему указанные группы больших стран¹ двигаются по одному пути скорее, чем по другим. *Внутри* каждого из этих путей Мур главным образом приводит доводы вдоль линий метода согласия². Каждый путь включает два-три государства, об историческом развитии которых Мур выдвигает общий причинный аргумент, время от времени используя различия между случаями, чтобы исключить возможные альтернативные аргументы» [Skocpol, Somers 1980: 183–184; курсив авторов. — *Б. В.*].

Я не утверждаю, что ошибки, связанные с отсутствием контрольных процедур, допускают все антропологи и что социологи вовсе не делают таких ошибок. Просто было бы неплохо, чтобы представление о них имели все занимающиеся социальными науками.

Библиография

- Березкин Ю.* Ответы на вопросы «Форума о форуме (или о состоянии дискуссионного поля науки)» // Антропологический форум. 2009. № 10. С. 21–23.
- Бочаров В. В.* Антропология, социология и востоковедение // Введение в востоковедение. СПб.: Каро, 2011. С. 170–184.
- Вахштайн В.* К логике демаркации: «зеленая линия» социальных наук // Антропологический форум. 2010. № 13. С. 19–25.
- Дерлугьян Г.* Адепт Бурдые на Кавказе: эскизы к биографии в мировой системной перспективе. М.: Территория будущего, 2010.
- Рингер Ф.* Закат немецких мандаринов: академическое сообщество в Германии, 1890–1933. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

¹ В исследовании рассматриваются следующие группы стран: Англия, Франция и США; Германия и Япония; Россия и Китай.

² Метод согласия — один из четырех методов теории индукции Джона Стюарта Милля.

- Соколовский С.В.* Российская антропология и проблемы ее историографии // Антропологический форум. 2008. № 9. С. 123–153.
- Тишков В.А.* Общество в вооруженном конфликте: этнография чеченской войны. М.: Наука, 2001.
- Caldwell R.* Agency and Change: Rethinking Change Agency in Organizations. L.; N.Y.: Routledge, 2006.
- David P.* Clio and the Economics of QWERTY // The American Economic Association. 1985. Vol. 75. No. 2. P. 332–337.
- Shils E.* Sociology // Kuper A., Kuper J. The Social Science Encyclopedia. L.: Routledge & Kegan Paul, 1985. P. 799–811.
- Skocpol T., Somers M.* The Uses of Comparative History in Macrosocial Inquiry // Comparative Studies in Society and History. 1980. Vol. 22. No. 2. P. 174–197.
- Wallace R.A., Wolf A.* Contemporary Sociological Theory: Continuing the Classical Tradition. 3rd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1991.

ДМИТРИЙ ГРОМОВ

1

И то и другое — науки о человеке. Только социология делает больший упор на общество, а социальная антропология — на человека. Поэтому четкой границы между этими двумя науками нет, и социолог легко может использовать социально-антропологические методы, а социальный антрополог — социологические. Однако ввиду специфики сферы исследования социология уделяет большее внимание количественным методам (которые удобны для описания общества), а социальная антропология — качественным (которые удобны для описания человека).

2

И тот и другой подвержены правилам своей науки, и это может накладывать на них определенные ограничения.

Социолог, как правило, не уделяет внимания деталям, а детали зачастую как раз наиболее важны для описания и понимания социальной реальности. Он не опишет повседневность, быт, пространство, ритуальность, не осмыслит эмоциональности высказываний информантов и не попытается взглянуть на жизнь их глазами. Социолог в упор не видит текстов, да и не умеет с ними работать,

Дмитрий Вячеславович Громов

Государственный
республиканский центр
русского фольклора,
Москва
gromovdv@mail.ru

поэтому фольклор, литература, искусство и прочие трудноизмеримые вещи, как правило, не воспринимаются социологами и отдаются на откуп фольклористам, филологам, искусствоведам и др.

Подход социальной антропологии мне представляется изначально более гибким, а значит, и более выигрышным. Имея в своем названии сразу две категории — «социо-» и «антропо-», социальная антропология может обращаться и к наукам о социуме, и к наукам о человеке, а также к истории, филологии и прочим гуманитарным (и даже естественным) наукам. Методологический инструментарий здесь оказывается несравнимо разнообразнее.

3

Чисто социологические сферы — исследование количественных характеристик общества и происходящих в нем процессов, применение качественных методов социальной антропологии здесь излишне и даже вредно. В социальной антропологии «заповедных» областей, где недопустимо использование социологической методологии, пожалуй, и нет. Даже исследование таких интимно-личностных явлений, как творчество, любовь, восприятие искусства, не исключает корректного использования социологических инструментов.

Социология и социальная антропология должны дополнять друг друга, но, выражаясь образно, социология дает общий контур объекта, а социальная антропология рисует сам объект в цвете и подробностях. Мне кажется, что социология без применения качественных методов не способна давать полной картины социальных явлений. Кстати, психология тоже не может дать описания конкретного человека или группы исключительно при помощи замеров психологических характеристик личности — для этого необходимо еще и рассмотрение его (их) социальной жизни (а значит, переход в область социальных наук, в первую очередь социальной антропологии).

Как я уже говорил, специалист, стремящийся создать наиболее адекватную картину социального явления, может одновременно пользоваться и социологическим, и социально-антропологическим инструментарием, в зависимости от того, что ему удобнее для достижения конкретных целей. В качестве примера можно привести книгу В.И. Ильина «Быт и бытие молодежи российского мегаполиса: социальная структурная повседневность общества потребления» (СПб., 2007). Автор — социолог, но вся его книга построена на интервью, дан хороший иллюстративный ряд. В итоге живая повседневность и стратегии потребления были рассмотрены через призму социологической терминологии, книга получилась и интересной, и научно корректной, совмещение социологии и социальной антропологии ей не помешало.

4 Мне несколько раз доводилось участвовать в проектах совместно с социологами, есть и совместные публикации. Однако вряд ли на основании этого сотрудничества можно делать какие-либо выводы, поскольку в большинстве случаев оно предполагало использование качественных методов при изучении взаимно интересных явлений. Наши совместные позиции были ближе к социальной антропологии, и методологических разногласий не возникало.

5 Такое ощущение возникает очень часто. Как уже говорилось, социология (особенно абсолютизирующая количественный подход) не создает полной картины явления, а только очерчивает его контуры.

6 Социологические исследования, посвященные близкой мне тематике современной молодежи, часто наводят на мысли об упущенных возможностях. В качестве примера я привел бы вышедшую недавно книгу, которую не хочу называть, поскольку испытываю глубокое уважение к ее автору, который в своем направлении является отличным специалистом. Книга представляет собой исследование молодежи, относящейся к определенной социальной группе. Исследование построено исключительно на анкетировании. Анкетирование прошло безукоризненно, его результаты представлены в эффектной блоке таблиц, однако после прочтения книги понимаешь, что ничего нового о рассмотренной социальной группе ты не узнал. Количественный анализ не дает представления о социальном явлении. А об «упущенных возможностях» я говорю потому, что автором проанкетированы такие группы, которые не так-то просто заставить не то что заполнять анкеты, но и вообще общаться с исследователем. Если бы у каждого десятого анкетиремого взять подробное интервью, научная эффективность была бы значительно больше. Для социолога, который в состоянии заставить заполнять анкеты, скажем, молодых бандитов, проституток или скинхедов-наци, не составило бы труда взять у них интервью, но это не пришло ему на ум, поскольку не соответствует его профессиональным установкам.

Повторю, что социология делает больший упор на общество, а социальная антропология — на человека. Соответственно, этим определены сильные и слабые стороны каждой из этих наук — аппарат одной больше пригоден к исследованию общества, другой — человека.

Однако они могут взаимно дополнять друг друга. Знание «чужой» методологии и умение ею пользоваться всегда делают исследователя сильнее, расширяют круг его возможностей. В частности, социальным антропологам полезно вырабатывать в себе интерес к количественному подходу — стараться по воз-

возможности делать выводы на основе анализа не двух-трех случаев, а обширных материалов. Нужно накапливать статистические данные, определять частоту явлений, уметь составлять таблицы и высчитывать проценты. Без грамотно применяемого количественного анализа социальная антропология рискует выродиться в журналистику.

Помимо прочего более активное применение количественных методов позволяет решить распространенную проблему этнографии и социальной антропологии — путаницу частного и общего, при которой сосредоточенность на ярких, но нетипичных случаях не дает рассмотреть случаев типичных, но не столь ярких. Количественный подход позволяет выявить долю представленности каждого случая в общем массиве. Например, при описании молодежных субкультур типичной ошибкой является абсолютизация субкультурного костюма: при чтении описаний, составленных без количественного анализа, как правило, создается впечатление, что все субкультурщики ходят в одинаковом «идеальном» костюме. В действительности это не так: на каждый день они одеваются как все прочие молодые люди, а «правильный» субкультурный костюм носят немногие (типичен случай, когда на тусовке только 15 % носят субкультурную одежду).

Конечно, эффективным может оказаться (хотя и далеко не всегда) проведение комплексных исследований, в которых результаты социологических опросов сопоставляются с данными других наук. Например, в подборке, посвященной декабрьским протестным выступлениям 2011 г. и представленной в электронном разделе данного выпуска журнала¹, мне кажется, в целом удалось сопоставление социологической информации с информацией другого порядка, например с содержанием уличных плакатов, особенностями уличной самопрезентации и др.

СЬЮЗЕН ГЭЛ

Сьюзен Гэл (Susan Gal)
Чикагский университет,
США
s-gal@uchicago.edu

На интересные вопросы о взаимоотношениях между социологией и антропологией, поставленные «Форумом», я отвечаю в стилистике неформальных размышлений. Мои комментарии, безусловно, связаны с той академической сферой, которой я занима-

¹ <<http://antropologie.kunstkamera.ru/07/16online/>>.

юсь. Я работаю как в области социологии, так и в сфере антропологии, хотя и получила образование лингвистического антрополога.

Антропология и социология в США предъявляют претензии на одних и тех же интеллектуальных предков из XIX столетия: среди прочих это Конт, Маркс, Дюркгейм, Вебер, ван Геннеп. Эти дисциплины не отличаются простой генеалогией. Тем не менее антропологи преподают «Элементарные формы религиозной жизни» Дюркгейма, социологи — «Самоубийство» и «Разделение труда». Сходным образом, антропологи включают в свои курсы веберовский анализ интерпретирующего метода, а социологи нередко связывают имя Вебера с идеальными типами и категориями религии. Короче говоря, между двумя науками существуют различия в мировидении или в том, как расставляются акценты — как мобилизуются для текущей работы интеллектуальные предки.

Тем не менее социологи и антропологи действительно читают работы и пользуются исследованиями друг друга. Исходя из своего опыта отмечу, что это происходит не на уровне дисциплин в целом и наиболее абстрактных теоретических планов, но в определенных тематических и региональных областях. Поэтому проблемы сотрудничества возникают подчас тогда, когда у социологии и антропологии нет изоморфных областей (например, социологические «исследования семьи» не очень совпадают с антропологическими «исследованиями родства», «социология знания» — вполне утвердившаяся область, а «антропология знания» является относительно новой сферой, чья проблематика возникала ранее под другими названиями). Кроме того, отличаются и внутренние водоразделы. Большая полемика в социологии разворачивается вокруг противостояния количественных vs. качественных исследований, тогда как горячие споры в антропологии сталкивают друг с другом физических антропологов с социокультурными. Однако представителям и той и другой дисциплины, исследующим конкретную область, например гендерные отношения или сексуальность, смешно было бы не обращать внимания на работы друг друга. Это верно и относительно таких исследовательских областей, как социальные движения или медицина. Сходным образом специалисты по тому или иному региону хорошо знают о работе, проводящейся в их регионе или посвященной ему, невзирая на границы между социологией и антропологией. В рамках таких областей знания чаще всего и проводятся совместные исследования.

Однако различия в том, как расставляются акценты в обеих науках, сохраняются. Причина в методологических различиях.

ях? Обычно так и говорят. Говорят о том, что антропология строится на маломасштабном и долгосрочном этнографическом наблюдении, результатом которого является «насыщенное» описание. А социология — на большой выборке, интервью, опросах или наблюдениях, которые обычно оказываются короче и могут включать повторные выборки на протяжении длительных периодов времени. Социологические обобщения часто зависят от статистических манипуляций ответами, а не насыщенного описания. Антропологов удивляет то, что социологи могут удовлетворяться ответами, которые кажутся им столь поверхностными. Социологов шокирует, что антропологи осмеливаются делать обобщения столь неформальным и опрометчивым образом на основе своих незначительных примеров. Тем не менее, хотя этот грубый набросок в известном смысле соотнесен с реальностью, он искажает ее. Антропологи решают множество разных задач в своих полевых исследованиях. Интервью и короткие опросы также принадлежат к их методикам. Сходным образом глубинная этнография была и остается частью инструментария американской социологии, начиная от самых истоков данной дисциплины. Формы обобщения являются проблематичными в обеих науках. Впрочем, и здесь я вижу различия в акцентах, хотя объект исследования — социокультурный мир — остается одним и тем же. Социологов больше интересуют организация структурированной деятельности и ее институционализация, антропологов — то, как люди наделяют смыслом свои действия или конструируют структуру деятельности на основе значения. Ни одна из точек зрения не исчерпывает мир, который мы изучаем.

Кроме расставленных по-разному акцентов я вижу две сферы, где различия в настоящий момент сильнее. Это необязательно устойчивые различия, и я полагаю, что они на самом деле эфемерны. Однако сейчас они придают интеллектуальному разговору некоторую остроту.

Первое — проблема языка и коммуникации. Серьезные исследования, посвященные коммуникации, стали исчезать из социологического мейнстрима начиная с середины XX в. Новые поколения не пошли за большими концепциями Дж.Г. Мида, Гофмана, Гарфинкеля, Кикуреля и Шеглова или Дойча и Каца. Переноса «микро-» и «макро-» различия в сфере коммуникации, социологи создали объект исследования («порядок взаимодействия» на микроуровне, лицом к лицу), но при этом отказались от попыток соотнести его с другими аспектами социальной жизни. В социологии преобладает «конверсационный анализ». Однако новые исследовательские вопросы выходят за пределы анализа взаимодействия

лицом к лицу, и они, к сожалению, не стали предметом социологической концептуализации. Например, политические и экономические результаты действий средств массовой информации или дискурсивных рамок, задаваемых средствами массовой информации, как и почему социальные медиа могут организовывать политическую деятельность, как языковые формы встроены в воспроизводство классового, этнического или гендерного доминирования. Ни один из этих вопросов не был в достаточной мере осмыслен социологически мыслящими исследователями. Пьер Бурдьё мог бы считаться исключением, если бы не тот факт, что свой путь он начинал как антрополог. Напротив, социологические исследования институций, профессий, гендерных отношений и многого другого нередко удовлетворяются контент-анализом, в рамках которого в интервью, художественной продукции или других формах коммуникации отслеживается культурная тематика. Подобные исследования кажутся плоскими; в них нет внимательного и текстуально тонкого анализа знаковых систем и коммуникативных форм.

И наоборот, сфокусированность на проблемах коммуникации является центральной и институционализированной частью подготовки антропологов со времен Франца Боаса и Бронислава Малиновского. Для антропологического учебника или вводного курса немисливо не включать развернутый разговор о языке. Не так обстоит дело в социологии. Отчасти из-за того, что этнографические исследования часто проводятся среди людей, которые не говорят на языке исследователя, «проблемы» коммуникации являются центральными для полевых исследователей. Интеллектуальная причина такого положения дел заключается в ключевом характере для антропологии (и в гораздо меньшей степени для социологии) гердеровско-гумбольдтовской или романтической традиции, к которой восходят «концепт культуры» и идеологическая оценка языков и текстов. В середине XX в. происходило значительное теоретическое осмысление того, как грамматические формы влияют на мышление, культуру и социальные практики (Сепир, Уорф, Хаймс, Гомперц). Оно остается влиятельным в форме «семиотического» похода (восходящего к Пирсу, Соссюру, Якобсону, американскому литературоведу Кеннету Берку и др.).

В наши дни антропологическое исследование «знаков» включает не только грамматическую структуру и организацию социального взаимодействия (совершенно разного в разных социальных группах и часто выступающего в разграничительной роли), но и истолкование любых разновидностей коммуникации: журналистской, сакральной / ритуальной,

образовательной — все они являются традиционными объектами исследования. Более новые объекты исследования включают анализ коммуникативных пресуппозиций, текстуальных и интерактивных форм в правовых ситуациях, в финансовой области или в процессе выстраивания национальной солидарности. Другими проблемами являются коммуникативные аспекты политической мобилизации и социальных движений, делопроизводство в бюрократических системах, передача инструментария в научных исследованиях и его «истолкования» или перформативное порождение таких социальных категорий, как раса и сексуальность. Ни одна из этих проблем не ограничивается общением лицом к лицу, и все они включают «перевод» или циркуляцию способов сигнализации, выходящих за пределы единичных контактов, а часто связывающих целый ряд коммуникативных событий и несколько социальных институций. Поэтому интердискурсивная, мультимедийная и дисперсная коммуникация представляет особый интерес. Изучению социальной организации этих типов, безусловно, мог бы помочь опыт социологов.

Различия второго типа, заслуживающие упоминания, возникли благодаря тем изменениям, которые охватили антропологию в середине 1980-х гг. и заставили задуматься о том, как антропологи конструируют собственные объекты исследования и жанры письма, с помощью которых они коммуницируют друг с другом. Некоторые из этих изменений стали результатом вновь проявившегося внимания к философии, поставившей под сомнение идею оснований и обратившейся к исследованию «генеалогии». Мне кажется, что это повлияло на антропологию больше, чем на социологию. Студентов, изучающих антропологию, теперь учат ставить под сомнение концепты, конвенции и категории, при помощи которых они создают собственные «анализы» и «теории». Эти кавычки являются результатом критической работы 1980-х гг. Кое-что из этого оказалось самолюбованием, однако многое является полезным. Например, в области лингвистической антропологии и гендерных исследований, которыми я занимаюсь, воодушевляющим и продуктивным стало исследование того, как наши метакоммуникативные установки влияют на наши собственные имплицитные представления о том, чем является язык или что конституирует знак или взаимодействие, анализ того, как сам гендер конституируется перформативно, или исследование того, как люди, чью жизнь мы изучаем, конструируют связные законченные тексты из потока событий и взаимодействий, которые и являются социальной жизнью. Быть может, из-за своих более близких взаимоотноше-

ний с политикой или жесткого включения количественных исследований социология в меньшей степени была захвачена новейшим помешательством на рефлексивности, хотя, безусловно, со времен Вебера в социологии существуют сильные традиции рефлексивности.

Эти различия в степени интереса к метапроблемам могут вызывать беспокойство. Исходя из собственного опыта отмечу, что рабочие взаимоотношения между социологами и антропологами — даже если они друзья, работающие в одном и том же географическом регионе или в той же самой предметной области, — могут поколебаться, когда антрополог спросит: «А что мы имеем в виду под X?» (какой-нибудь ключевой концепт: родство, политика, идентичность). Например, этот концепт — «население». Социолог, вероятно, ответит: «Да брось ты это! Мы кое-что знаем наверняка: например, рождения и смерти являются неизменными демографическими фактами социальной жизни». На что антрополог, вероятно, скажет: «Погоди! Спроси у практикующего христианина или индуиста про воскресение или перевоплощение, и ты увидишь, что тот, кто является мертвым (или нет, или в каком угодно смысле), представляет собой сконструированный культурный, а отнюдь не реальный универсальный факт. Демографические определения изобретены нами как способ организации наших исследований и политики...» И, конечно, на этом месте разговор не прекратится. В какую бы сторону он ни пошел, по всей вероятности, он будет познавательным и полезным для всех, кто в нем участвует.

Пер. с англ. Аркадия Блюмбаума

СЕБАСТЬЯН ДЖОБ

Заметки о двух гуманитарных науках

Можем ли мы понять различия между антропологией и социологией, отнеся их к различиям по объекту (*gemeinschaften* vs. *gesellschaften*, технологически примитивное vs. продвинутое, традиционное vs. современное)? Или же к пространственным различиям (за границей vs. дома)? К различиям по интересу (экзотическое vs. знакомое)? По цели (интерпретация vs. объяснение)?

Себастьян Джоб (Sebastian Job)
 Университет Сиднея,
 Австралия
 sebastian.job@sydney.edu.au

По методу (качественное vs. количественное)? По избирательному родству (гуманитарные науки vs. естественные)? Насколько мы можем понять, обе науки теряют там, где отказываются от попыток проникнуть на территорию друг друга. Обе они построены как универсализирующие, и их способность содержательно высказываться об избранном предмете зависит в конце концов от способности удерживать в поле зрения максимально широкое пространство человеческого бытия.

На этом фоне та наука, которую в начале XXI в. мы знаем как социальную или культурную антропологию, обладает, как мне кажется, одним решающим преимуществом по сравнению с социологическим мейнстримом: этнографической полевой работой. Следует опять-таки отметить, что полевая работа в своих лучших образцах равняется «инициации», осуществляющей подлинный сдвиг в сознании, разрыву с принятыми в качестве само собой разумеющихся привычками и мыслительными формами, возникающему благодаря прямому столкновению со способом бытия чуждого в культурном отношении жизненного мира. Если Леви-Строс прав, говоря в «Печальных тропиках», что по своей природе антрополог является изувеченным человеком, не приспособленным для собственного общества, то же самое предположительно можно сказать и о многих социологах. Однако там, где социологическое воображение может требовать только систематизации этой способности к отчужденной самообъективации, которая уже отравляет жизнь талантливых молодых людей в современных мегаполисах (вспомните стояние на кухне во время вечеринки, когда вы смотрите на себя, смотрящего на других), антропология требует от своих новичков отправиться к другим берегам, изучать другие языки и попытаться быть принятыми людьми, которые смотрят, пахнут, едят, любят, мечтают и борются по-другому. Как правило, это сообщества, которые были и остаются на острие вселенской самопроекции европейцев и где конфликт между традицией и Новым временем преломляется через исторический конфликт «местных» и «чужаков». Этот факт чрезвычайно обостряет внутренние конфликты чужака-этнографа, который, будучи или не будучи западным человеком, опирается в значительной степени на европейскую интеллектуальную традицию и пытается быть приятным как временный инсайдер.

Помимо значительных моральных и политических преломлений эти психологические смещения вписаны в дуализм «включенного наблюдения», свойственный антропологическому методу. Включенность с целью наблюдения требует приостановки суждения, приобретение навыка *не* называть, *не* выносить решения о том, чем является нечто, *не* иметь готового «знания» по поводу значения или значимости чего-то. Это идеографиче-

ское измерение полевой работы, необходимо повторяемое, мысленное и чувственное усилие открыться неожиданному и неповторимому. Между тем наблюдение производится ради рациональной символизации, и до той степени, до которой номотетические идеалы все еще обладают весом в антропологии как в социальной науке, символизация требует постоянного вторичного и, быть может, столь же болезненного разрыва по отношению к «местным категориям» самих информантов.

Не будет преувеличением сказать, что полевая работа может принудить этнографа-неофита к своего рода эго-смерти. Все это к лучшему. Душа — целостность творческих, эмоциональных и интеллектуальных способностей, если угодно, — предположительно является вашим первичным инструментом знания, если вы занимаетесь социальными науками. Она должна быть взломана, ее нужно заставить кровоточить. Для полевого исследователя глубина и восприимчивость его души во много раз важнее любых специальных «техник», которым можно научиться. Если вы не хотите погружаться в собственное автопозитическое измерение, чего будут стоить те вопросы, которые вы задаете танцорам? Если вы никогда глубоко не размышляли о любви и ненависти, зависти и унижении, насколько проникновенными будут ваши теории по поводу национализма, расизма, городского насилия? Если вы ханжески стыдитесь собственных сексуальных желаний, заметите ли вы поданные в иных культурных формах потоки желаний других? Если вы боитесь созерцать грядущее разложение вашей собственной плоти и неясный статус собственной души, что вы сможете *увидеть*, когда толпа воеет рядом с оползнем? Если вы никогда не чувствовали зов трансцендентного и не терялись в тайнах метафизики, что вы поймете в кающемся и его иконах? Если вы никогда не боролись с нравственными проблемами и вызовами политическому действию, что услышите вы в проклятиях пережившего предательство борца?

Подобные наблюдения по поводу социологии и на другом языке уже делались Элвином Голднером [Gouldner 1973: 27–68]. Тем не менее кажется верным, что, не обладая преимуществами «умирания» для своих прежних идентичностей, социологи более склонны к воспроизведению спонтанного и не очень спонтанного самосознания собственной культуры. Откровенно говоря, они более склонны к тому, чтобы быть бессознательными идеологическими марионетками. Наиболее вопиющие примеры возникли тогда, когда социология оказалась колонизированной широко распространенными утилитарными представлениями теории рационального выбора. Проблема усугубляется, когда действительно можно убедительно доказать, что в среднем некоторые люди на самом деле ведут себя

так, как будто стремятся получить максимальную выгоду, оптимально распоряжаясь своими товарами в квазирыночных условиях — неважно, являются ли эти товары этнической идентичностью, брачным партнером или религией (трактовку национальной и этнической принадлежности в этих терминах см. в: [Breton, Galeotti, Salmon, Wintrobe 1995]).

В подобных случаях социальная наука одобряет поведение целой массы людей, по-видимому, отлично адаптированных к капиталистической ойкумене. Поведение, которое является, быть может, хрупким результатом конкретной истории религиозных изменений, государственной централизации, имперских завоеваний, политической борьбы, насильственного уничтожения идеологических соперников, возникновения мышления, построенного на расчете, насыщения медиаландшафта потребительством, колонизации жизненного мира корпорациями, специфических форм воспитания, а также продолжающегося процесса бюрократизации и его периодических сбоев, оказывается значительно упрощенным и таким образом искаженным строгим на первый взгляд использованием концептов, таких как «социальный капитал», которые предположительно обладают количественными значениями (критику этого подхода см. в: [Somers 2005]).

Кроме того, хотя и «хорошо адаптированное», это поведение все еще коренится в универсалиях человеческого существования (всегда конкретных социокультурных формах, которые учитывают, оценивают и придают символический характер житейским нуждам, половом влечении и влечении к смерти, архетипических стремлениях, бессознательных травмах, самоидеализации, семейных комплексах, телесных страданиях, структурах расставания, индивидуации и воссоединения, поиске смысла и признания...), причем все это также игнорируется. В худшем случае коллективное поведение предстает перед обществом в виде социологических категорий, не очень далеких от языка пиара — от «брендинга» до «маркетинга ниши». Круг замыкается, когда критические социологи (лояльная культурная оппозиция, так сказать) воспроизводят некоторые из тех же самых базовых представлений (например, экономистическая версия марксизма или марксистская разновидность теории игр).

Все это ни в малейшей степени не предполагает, что у антропологии есть иммунитет по отношению к искажениям, порождаемым воздействиями государства, рынка и товарной культуры. Не означает это и того, что полевая работа спасает антрополога от того, что в старые добрые времена называлось ложным сознанием. За эго-смерть иногда платят новым рождением ис-

следователя в качестве наивного культурного релятивиста или защитника чистого превосходства туземной мудрости. Это доказывает, что этнограф так и не умер вполне. Еще хуже антрополог, который забирается во время полевой работы внутрь своего идеологического панциря. Вне всякого сомнения, несколько полезных психоделических путешествий могут сделать больше для встряски прикованного к своему дому социолога, чем что бы то ни было, встреченное путешествующим этнографом, который никогда мысленно не покидает дом.

Между тем факультеты антропологии часто поощряют состояние по распусканию грандиозных гобеленов теории (которые всегда сотканы другими) во имя локальных деталей, как будто задача антрополога сузилась до того, чтобы просто показать, что ситуация всегда является более запутанной, чем предполагалось изначально. Или же влиятельными становятся теории, чьей основной задачей оказывается исключение универсалий в качестве либо опасных маскировок власти, либо невозможных фантазий, либо и того и другого. Несомненно, наилучшим противоядием в этой ситуации, по крайней мере на индивидуальном уровне, является расширение сферы деятельности антрополога, более глубокое знакомство с большим количеством разнообразных культур, с западной культурной историей, а также рефлексия по поводу этих вещей. Иначе говоря, лучшее противоядие — стать глубоко бездомным, лучше всего — почувствовать себя дома с человеком как таковым.

Особо необходимо подчеркнуть, что человек является той главной реальностью, понять которую стремятся обе эти науки. Слишком долгий путь пройден с того момента, когда Запад породил новые политические смыслы, слишком большой путь пройден с тех пор, когда правящие классы столкнулись с революционными вызовами. Склероз системы в целом, ее неспособность серьезно думать, не говоря уже о том, чтобы обращаться к наиболее сложным проблемам, по всей видимости, характеризует и университеты. Было бы удивительно, если бы дело обстояло по-другому. И конечно, это оказало большое воздействие на честность социальных наук. Ощущение аномии, труд, регулируемый идиотскими правилами, раздутая администрация, рутинизированная система контроля, невозможное давление расписания, бесконечная организационная перетасовка, исчезающая солидарность, проблема занятости и императивы прибыльности, враждебные преподаванию, исследовательской работе и учебе, вероятно, присущи многим университетским факультетам. Как отмечает Р.У. Коннелл в исследовании, посвященном австралийским работникам умственного труда: «У некоторых респондентов, хотя, конечно, не у всех, есть ощущение полномасштабного культурного кри-

зиса, жертвой которого стала роль академического ученого, ощущение, что дорогой для них образ жизни был разрушен, и ничего заслуживающего восхищения не пришло ему на смену» [Connell 2011: 101].

Можно надеяться, что в институциональном контексте все возрастающего экономического, культурного и психологического инкорпорирования в очевидно больную систему (см.: [Kapferer 2007]) ученый, работающий в области данных наук, будет все более отчетливо ощущать требование освобождения, необходимого для понимания условий человеческого существования. Другими словами, он будет постигать внутренним чутьем необходимость интеллектуально освободиться от доминирующих интерпретаций императивов социальной системы (того, что обычно называют «значимым»). В принципе речь идет просто о четком выборе: или быть постоянно открытым этому широкому экзистенциальному горизонту и интеллектуально ориентироваться на него, или быть поглощенным проблематикой, продиктованной институциями, или следовать автономии, присущей проекту социального знания, или воплощать гетерономию, требуемую академической версией корпоративного этоса. Этот выбор, который тонко описал Марсель Энаф в книге “The Price of Truth” [Henaff 2010], покоится на глубокой несовместимости денежной оценки и знания. Однако, как показывает тот же Энаф, эта несовместимость отнюдь не является простой и ясной.

Можно упомянуть две сложности, возникающие в данном случае. На практике те бреши, которые периодически открываются в современной государственной системе, постоянно нуждающейся в экспертных советах, подпитывают стремление к социальным реформам. Как отметил в своем президентском обращении 1992 г. Джеймс Коулман, корифей социологии рационального выбора и президент Американской социологической ассоциации, у специалистов в области социальных наук существуют возможности «быть архитекторами и архитектурными советниками при проектировании социальных институций». Современное общество постоянно перестраивается, и задача социологии — гарантировать, «чтобы эта реконструкция общества была не наивной, а изощренной, можно сказать, обеспечить, чтобы эта реконструкция общества действительно была рациональной» [Coleman 1993: 14]. Несомненно, привлекательность таких идей, как «социальный капитал», является в значительной степени следствием этих различимых возможностей. Более точно, однако, было бы говорить о том, что общества капиталистического Запада, с растущим неравенством, охваченные корпорациями и политически невосприимчивые, давно доказали, насколько наивен тот, кто полагается на раци-

ональную реконструкцию. Во всяком случае, по мере того как эта диалектика надежды и разочарования проявляется в индивидуальной карьере того или иного ученого, мы можем ожидать, что интеллектуальное недовольство и недовольство личными компромиссами будут возрастать.

Возможно, однако, напрямую работать на негосударственных и нерыночных акторов (занимающихся «публичной» социальной наукой, в отличие от «профессиональной», «политической» или «критической» социальной науки, если воспользоваться терминами, которые предлагает Майкл Буравой). На самом деле, как убедительно показывает Буравой, самозащита социальных наук тесно связана с самозащитой общества [Burawoy 2005: 524]. Впрочем, следует высказать сомнение относительно того, осознала ли социальная наука, профессиональная, критическая или публичная, всю меру того, что на самом деле влечет защита себя или общества. Есть некоторые свидетельства того, что антисистемные социальные акторы и радикальные специалисты по социальным наукам вместе могут стать носителями новых политических смыслов, возвещающих уход от смертельной траектории большого социоэкономического и психологического порядка (примером тому является работа для Всемирных социальных форумов), однако весомым альтернативам еще предстоит созреть.

Умножение признаков системной дисфункции, вероятно, сигнализирует о крупных интеллектуальных переменах на повестке дня как в антропологии, так и в социологии. Относительные достоинства и недостатки обеих наук вторичны, поскольку бессознательная социокультурная ограниченность данных дисциплин на сегодняшний день становится все более заметной. Заявляют о себе новые и обновленные контексты экстра-системного и контрсистемного значения. Среди наиболее значимых аспектов этого процесса надо назвать следующие:

1. Множащиеся свидетельства бесконечного уничтожения природы требуют переосмыслить отношение гуманитарных наук к природной сфере. Исторически переживавшие «научную зависть» или дистанцию по отношению к естественным наукам различные течения в антропологии и социологии всегда полагали неприемлемым подчинять понимание человека какой-то региональной науке (биология в данном случае была основным кандидатом) или исключать природное из своего анализа. Однако проникновение экологического сознания — смутного и встревоженного сознания обширных и разорванных взаимосвязей, из которых складывается метаболическая взаимозависимость, — в большие социальные страты на сегодняшний день различимо во всех социальных науках. В то же время философ-

ское замешательство точных наук (скажем, эффект квантовой физики), проникновение технологических протезов в области, которые когда-то были природными (от сердечных клапанов до искусственных спутников), а также двусмысленное соучастие естественных наук в стремительном разрушении природных систем — все это значительно расширяет интерпретационное пространство. Что значит думать о природе, соотносить себя с природой, участвовать в жизни природы, находиться под ее властью — вот ряд вопросов, поставленных социальным наукам, причем авторитетных ответов на эти вопросы нет.

2. Ряд явлений — от возрождения религии до социокультурной близорукости «нового атеизма», официальной замены коммунистической угрозы угрозой фундаменталистской, относительного заката евро-американской цивилизационной метрополии, скептицизма по поводу неизбежного упадка религии в ходе процесса модернизации — ставит под сомнение секулярность социальных наук, принятую в качестве само собой разумеющейся. Иными словами, общее место, которое помещало их между естественными и гуманитарными науками, затрудняло понимание еще одного важного контекста. Исторически эти дисциплины в действительности располагались между природным «снизу» (что стало основным объектом естественных наук) и божественным «сверху» (что на сегодняшний день предположительно существует только как объект практики, ритуала и верований тех, кого исследуют социология и антропология).

Когда-то это местоположение социальных наук было само собой разумеющимся. Теоретическая дискуссия, доминировавшая в XX в., вращалась вокруг таких конструкций, как «природа и культура» или «природа и общество», но не «природа, социокультурный мир и дух». Однако криптокосмологические основания, на которых строилось это исключение «духовного», на сегодняшний день представляются самонадеянными. Антропология и социология, наследники европейского разочарования религией в XIX в., теперь должны задать себе вопрос, могут ли они выносить богов и духов за пределы «культуры» и «общества» и как они вообще могли это делать [Turner 1993].

Тем не менее, если автоматический секуляризм действительно является «препятствием» для исследования в области социальных наук, как полагает Чарльз Стюарт в отношении антропологии [Stewart 2001], значит ли это, что социальные науки должны стать открытыми религиозной апологетике верующих? Или что они станут открытыми, даже если не должны? Это острые проблемы, однако наиболее интересные и трудные вопросы следует искать не здесь. В контексте этих обострив-

шихся столкновений по поводу веры, очевидности, практики и опыта найдут ли в себе достаточно сил секулярные мыслители из университетов, чтобы потерять свою историческую и культурную невинность? Еще и еще раз, как и положено, переосмысляя свои истоки, коренящиеся в Просвещении и допросвещенческой культуре [Zammito 2002], признают ли они, насколько ограниченными были их представления об истине, разуме, обществе, политике и человеческом «я»?

Несмотря на то что это интеллектуальные вопросы, требующие рационального рассмотрения, значительную роль в ответе на них, несомненно, будут играть переживания мистического и лиминального характера, которые испытывают люди (см.: [Archer, Collier, Pogora 2004]). Вторя мысли Буркхарда Шнепеля, Дэвид Геллнер пишет, что «что для антрополога было бы прекрасно пережить одержимость в ситуации поля, при условии, что по возвращении домой этот опыт прекратится» [Gellner 2001: 339]. Критическое различие между полем и домом, несомненно, является решающим. Признаем, однако, что чем больше специалисты по социальным наукам проходят через опыт одержимости (вознесения, перевоплощения, встречи с иномирным, предопределения, блаженной целостности), тем более странным становится «дом».

3. С описанными выше явлениями связано и возникновение, быть может, первых глобальных мифов. Архетипы Апокалипсиса и Геи, хотя и имеют западные названия (христианское и греческое соответственно), являются архетипическими мифами, сфера распространения которых на сегодняшний день кажется неопределенно большой [Marshall 2009]. Отношение разума к мифологическому мышлению было главным предметом научной рефлексии, восходящим к Ксенофану, однако острота и масштаб нынешних глобальных процессов — иного порядка. Социальные группы, политические союзы, нации и целые регионы подпадают под власть архетипических мифов и освобождаются от нее в своих попытках осознать кризисные явления.

Могло ли быть по-другому? По мере того как становится очевидным отрицательный ответ на этот вопрос, менее очевидным становится знание сообщества специалистов по социальным наукам, что значит *рационально трансцендировать* эти приливные волны социокультурных течений. Можно занять нейтральную, незаинтересованную и бесстрастную позицию по отношению к мировым проблемам с тем, чтобы лучше понять их, однако при отсутствии пристального внимания к тому, как работают архетипические мифы, как конкретно работают они даже на столь высоколобых форумах, как университетские

семинары, подобные «нейтральные» позиции безусловно оказываются построенными на бессознательной репрессии, что по сути неудовлетворительно и несостоятельно в интеллектуальном отношении. Следовательно, отношение разума к мифу в рамках антропологического и социологического анализа приобретает характер экзистенциальной проблемы.

4. В целом мы можем сказать, что чем сильнее было оказываемое давление, тем более отчетливыми становились некоторые из перегородок, незаметно встроенные в принцип реальности современного западного общества. Многие формы, в которых социальные науки выражали этот принцип реальности, до боли очевидны. Или же они становятся очевидными сейчас [Bidney 1995 (1953)]. С одной стороны, мы говорим только о большей проблематичности знакомых нам вещей, будь то водораздел между нормальностью и безумием, вероятным и невероятным, хорошим вкусом и вульгарностью, цивилизованным и первобытным. С другой — количественные воздействия со временем порождают качественные коллапсы. Кажется, мы находимся на ранней стадии кризиса живой онтологии западного, т.е. глобального, человечества. Если вы считали, что уже прошли через все это благодаря постмодернизму, подумайте снова. Метафизическая энтропия — распад системы разделяемых сообществом и в значительной степени бессознательных обязательств — несомненно становится более серьезной. Воспитанные этими обязательствами, антропология и социология сейчас состязаются в попытке обнаружить, приверженцами чего они были. Если этот «онтологический поворот» можно точно идентифицировать с идеями конкретных мыслителей — скажем, Эдуарду Вивейруша де Каштру или Мерилин Стратерн в антропологии, или критико-реалистической школой, вдохновляемой Роем Бхаскаром, в социологии, или с кем угодно еще — ему просто нужно найти новое название. «Онтология» вместе с «метафизикой», «космологией» и всеми их «этно-» разновидностями («этноонтологией», «этнометафизикой» и т.д.) являются теми проблемными областями в сфере социальных наук, которые возникают в ситуации вполне конкретной катастрофы. Они оказываются своего рода ударной волной, фиксирующей в теоретическом сознании то, как преобладающие и глубоко укорененные иллюзии западного общества, прежде всего лелеемые и рекламируемые правящими классами, сталкиваются с реальностью, которую невозможно описать, реальностью, которую они фиксируют лишь в образе общества, летящего сквозь разбитое лобовое стекло.

Библиография

- Archer M., Collier A., Porpora D.V.* Transcendence: Critical Realism and God. L.: Routledge, 2004.
- Bidney D.* Theoretical Anthropology. N.Y.: Transaction Publishers, 1995 (1953).
- Breton A., Galeotti G., Salmon P., Wintrobe R.* (eds.). Nationalism and Rationality. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Burawoy M.* Provincializing the Social Sciences // G. Steinmetz (ed.). The Politics of Method in the Human Sciences: Positivism and Its Epistemological Others. Durham: Duke University Press, 2005. P. 508–526.
- Coleman J.* The Rational Reconstruction of Society. 1992 Presidential Address to American Sociological Association // American Sociological Review. 1993, February. Vol. 58. P. 1–15. <<http://www.asanet.org/images/asa/docs/pdf/1992%20Presidential%20Address%20%28James%20Coleman%29.pdf>>.
- Connell R.* Confronting Inequality: Gender, Knowledge and Global Change. Cambridge: Polity Press, 2011.
- Gellner D.* Studying Secularism, Practicing Secularism — Anthropological Imperatives // Social Anthropology. 2001. Vol. 9. P. 337–340.
- Gouldner A.* For Sociology: Renewal and Critique in Sociology Today. Harmondsworth: Pelican Books, 1973.
- Henaff M.* The Price of Truth: Gift, Money, and Philosophy. Stanford: Stanford University Press, 2010.
- Kapferer B.* Anthropology and the Dialectic of Enlightenment: A Discourse on the Definition and Ideals of a Threatened Discipline // The Australian Journal of Anthropology. 2007. Vol. 18. No. 1. P. 72–94.
- Marshall J.* (ed.). Depth Psychology, Disorder and Climate Change. Sydney: Jung Down Under, 2009.
- Somers M.* Beware Trojan Horses Bearing Social Capital: How Privatization Turned Solidarity into a Bowling Team // G. Steinmetz (ed.). The Politics of Method in the Human Sciences: Positivism and Its Epistemological Others. Durham: Duke University Press, 2005. P. 233–273.
- Stewart C.* Secularism as an Impediment to Anthropological Research // Social Anthropology. 2001. Vol. 9. P. 325–328.
- Turner E.* The Reality of Spirits: A Tabooed or Permitted Field of Study? // Anthropology of Consciousness. 1993. Vol. 4. No. 1. P. 9–12.
- Zammito J.H.* Kant, Herder, and the Birth of Anthropology. Chicago: University of Chicago Press, 2002.

Пер. с англ. Аркадия Блюмбаума

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

1

Я думаю, что на самом деле предметы (объекты) исследования у них должны быть разными: у социологии — массы людей (даже если и небольшие вплоть до одного, то изучающиеся всегда в соотношении с большими массами), у антропологии — один человек, но с его характеристиками, принадлежащими (по возможности) всем людям (философская антропология) или сколь угодно узким группам (локальным, семейным, этническим, языковым, религиозным). Методы исследования: у антропологии — структурные, семиотические, на границе с дискретной математикой (особенно ее логическими и алгебраическими разделами, как у А. Вейля в сотрудничестве с Леви-Стросом в его диссертации о структурах родства), тогда как социология пользуется в основном аппаратом статистики, ее философия — вероятностная, как у современной физики микромира. Для результатов социологии важны статистические критерии достоверности, тогда как антропологу должно быть важно согласование его выводов с субъективной самооценкой исследуемого человека и с данными когнитивной нейробиологии (А. Ардилья и другие современные продолжатели Л.С. Выготского и А.Р. Лурия).

2

Кроме отмеченных в предыдущем разделе основных различий я бы подчеркнул, что социология относится к числу научных дисциплин, изучающих преимущественно процессы увеличения энтропии и поэтому подчиняющихся правилам течения физического времени (поэтому социологические выводы могут относиться к физическому пространству-времени), тогда как антропология занята информацией и ориентируется на возможные особые пространственные и временные характеристики отдельных культур и идиодialeктов (отдельных людей как личностей).

3

Мне представляется целесообразным исследование одного и того же объекта (например, учебного заведения, фирмы, киностудии) одновременно с точки зрения каждой из двух наук. В многочисленных антропологических работах, посвященных рынку и бизнесу (см. хотя бы подборку самых ранних из них в хрестоматии [Podolefsky, Brown 1991]), отмечалась возможная роль антропологического подхода к потребителю. Особенно интересно исследование скорости проникновения новой техники (коммуникационной и информационной) в современные общества, в том числе традиционные (скажем, полезна социологическая и антропологическая характеристика руководителя современной страны, не пользующегося Интернетом). Применение социологии по отношению к причинно-следственному аспекту духовных явлений (поэзии, театра, мистики) проблематично и пока научно не было обосновано.

4

В исследовании языков и языковых сообществ внутри современного большого города (мегалополиса), как Лос-Анджелес или Торонто, мне представляются важными различия в социологических статистических оценках (в частности, на основе результатов переписи населения) значимости отдельных составляющих (английский как основной официальный письменный язык, латиноамериканский испанский как совокупность устных диалектов большинства населения Лос-Анджелеса) и в антропологических различиях характеристик тех же и других сходных с ними объектов по отношению к одному говорящему, его внутреннему миру и связям с окружающими (скажем, молодой цыганенок преимущественно использует разговорный испанский и официальный письменный английский, которому учится с детства, а взрослый цыган в общении со своими сверстниками-мужчинами все больше сосредоточивается на традиционном цыганском балканском диалекте, когда-то вывезенном в Калифорнию его предками из Европы).

В тех опытах изучения русской истории, авторы которых пробуют выделить основные социальные силы, определявшие ее ход в средние века, кажется вероятным различие основной массы смердов и сравнительно небольшой группы владельцев больших земельных угодий (статистический подход к этим социологическим понятиям был предложен еще в недавно изданной ранней работе А.Н. Колмогорова, развитие похожих идей давно предложил академик В.Л. Янин). Социолингвистический анализ приводит к несколько иному противоположению: грамотное сословие включало преимущественно монахов и священников и других священнослужителей, тогда как к воинству относились земледельцы и владельцы земель, за одним исключением (древнего Новгорода) совсем не знавшие письменного языка, в особенности церковного, и изъяснявшиеся

главным образом устно на одном из восточнославянских диалектов. С антропологической точки зрения это различие может оказаться более существенным, чем то, которым оперирует социальная история.

5

В социологии остается совсем не решенным вопрос о разумных критериях оценки достаточной представительности выборки (основатель кибернетики Норберт Винер на этом основании при нашей встрече в Москве стремился отговорить меня от попыток применения точных методов в социальных науках; переходя к злободневным темам, отмечу явную псевдонаучность и даже антинаучность результатов подавляющего большинства социологических опросов, даже у моего покойного друга Левады и его воспитанников). Тогда же, когда я говорил с Винером (в начале 1960-х гг.), другой великий математик — А.Н. Колмогоров — подтвердил мне, что малость выборки (например, при исследовании стиха) допустима, если выявлена структура. В этом отношении структурная антропология имеет значительное преимущество по сравнению с социологией, пока не нашедшей столь же ясных приемов выявления структуры (отчасти для многих поэтому оставалась привлекательной терминология «классовых» различий, см. выше о смердах в средневековой России). Поэтому социология при исследовании хаотических (турбулентных) явлений пока по строгости методов сопоставима, например, с наукой о землетрясениях. Я не думаю, что получены ценные результаты при попытках социального анализа Гражданской войны в России, тогда как крупницы антропологического исследования содержатся в соответствующих литературоведческих работах.

6

При исследовании отдельных замкнутых коллективов, размеры которых относительно ограничены, антрополог может помочь социологу, лишенному достаточно четкой структурной и семиотической программы исследования. В исследованиях таких современных сообществ, как западно-сибирское кетское, преобладающая и растущая роль шаманов требует преимущественно антропологического подхода, хотя статистическая оценка незначительности веса такого коллектива в общесибирской картине развития дается социологией. По отношению к сходной проблеме роли православной церкви в современном обществе Европейской части России социологический подход (в частности, по отношению к связи верхушки церкви с правительством) может представляться основным, а антропологическая точка зрения почти целиком может быть выведена из сделанных ранее наблюдений. В аспекте социолингвистики представляет интерес роль церковнославянского языка (традиционного русского извода) в качестве сохраняющегося для богослужения при постепен-

ном внедрении русского разговорного языка в церковную проповедь. Социологическая оценка степени непонятности сакральной лексики может быть сопровождается антропологическим исследованием значимости обряда для верующего (и чаще верующей), совсем не знающего сакральных слов. При исследовании Алеутских островов времени перед продажей Аляски выясняется исключительно высокий уровень церковнославянской грамотности всей массы алеутского населения, значительно превосходящий средний уровень грамотности по России середины XIX в. Антропологический анализ при этом может опираться на изучение письменного наследия отдельных священников, таких как «креол» (потомок брака алеутки и русского) Я. Нецветов. С антропологической точки зрения мне представляется крайне интересным изучение личности главы православной церкви Аляски и Алеутских островов Вениаминова. Этот создатель алеутской грамоты и грамматики, лингвист и этнолог (в научном отношении существенно опередивший свое время) среди других авторов вечерами читал Вольтера. Понимание подобных феноменов требует оценки таких факторов, как тогдашние огромные технические трудности преодоления расстояния, отделявшего Аляску и Алеутские острова от Санкт-Петербурга (эта же проблема изучается в недавних трудах об участии декабристов в Русско-Американской компании).

Из числа новых проблем, возникших перед исторической социологией в ее взаимодействии с антропологией, отмечу важность изучения демографических проблем раннего человечества (чему отчасти посвящены новые публикации С.П. Капицы). В частности, выявленное новыми генетическими работами свидетельство раннего смешения человека разумного разумного, пришедшего из Африки начиная с 70 тыс. лет до н.э., с встреченными им при движении на Восток евразийскими неандертальцами и «денисовцами» (алтайскими пралюдьми и их родичами на Новой Гвинее в Юго-Восточной Азии) требует совместного изучения социологических характеристик каждой из этих смешивавшихся групп и антропологического анализа вероятных форм речевой и жестовой коммуникации между ними (в этом плане антропологи могут извлечь для себя много нового из генетических открытий, касающихся естественного языка в его устной форме у людей и неандертальцев в свете исследования эволюции гена FOXP2).

В целом социология может существенно обогатиться благодаря применению выводов философской антропологии Бубера, Бахтина, Дильтея. Роль последнего для структурной культурной антропологии была выявлена Виктором Тернером в его предсмертных исследованиях антропологии театрального

представления. Поставленная еще в «Диалоге об актере» Дидро и развитая в специальной статье Л.С. Выготским с психологических позиций проблема возможных подходов к театру находит одновременно антропологическое освещение в исследовании роли имитации Другого (= Чужого, Ближнего, Nächste философской антропологии Когена) актером (с вероятным нейросемиотическим истолкованием в связи с современным изучением зеркальных нейронов и их коммуникативной роли) и социологическое объяснение в понимании массовой коммуникации и ее значимости для общества данного типа.

Библиография

Podolefsky A., Brown P.L. Applying Cultural Anthropology. Mountain View, CA: Mayfield Publishing Company, 1991.

ЕЛЕНА ОСЕТРОВА

К дискуссии о междисциплинарной связи между антропологией и социологией

По профессиональной квалификации я лингвист, однако предмет моего научного интереса — слухи и, более широко, всякая неавторизованная информация — обязывает меня знакомиться с работами по этой теме, созданными в других гуманитарных областях: философии, истории, психологии, коммуникативистике, общей филологии, фольклористике и, конечно, социологии. В связи с данными обстоятельствами вопросы дискуссии мне очень интересны, и в связи с ними же мои ответные реплики будут иметь характер скорее более общий, чем частный и специальный.

1

Социолог не в состоянии корректно рассуждать об обществе, не имея в виду индивида либо по крайней мере тот или иной социальный типаж, особенно если занимается анализом общественных моделей на микроуровне. Одновременно антрополог вынужден постоянно выходить за рамки личного мира человека, рассматривая его как существо групповое и коллективное для того, чтобы давать аутентичные характеристики своим «культурным героям» и артефактам.

Елена Валерьевна Осетрова
Сибирский федеральный
университет, Красноярск
osetrova@yandex.ru

Разница здесь, как кажется, в выборе плана обзора: антрополог *в деталях* рассматривает *человека* и его ближайшее, динамическое / статическое окружение (ритуалы, семейное и коммуналное поведение, пространство, предметы быта, одежду), социолог же пытается взглянуть на *общество*, предпочитая *широкий угол зрения*, начиная с коллектива, структуры локальных групп и переходя затем к исследованию национальных конгломератов, глобальных мировых процессов и вызовов цивилизации.

2

Повторюсь. Социолога как социолога, а антрополога как антрополога формируют два изначально различных профессиональных способа восприятия одного и того же: антрополог рассматривает «капли», вмещающие в себе сущность общественной стихии, социолог, выбирая верхнюю точку обзора, пытается охватить эту стихию широким взглядом.

3

Думаю, неверно начинать работу, боязливо исходя из какого-либо конвенционального предметного или проблемного ограничения. Любая область в принципе открыта для заинтересованного исследования: все зависит только от масштаба задачи, а также от методологической и методической базы, которая задачу обеспечивает.

В этом смысле выбор исследователя — оставаться в прокрустовом ложе частной науки или совершать вылазки за ее пределы — зависит от личностных предпочтений индивидуума и не связан ни с какой конкретной цеховой принадлежностью. Всегда и везде есть узкие специалисты, которым комфортно в строго ограниченных рамках одной области (даже направления), а есть, скажем так, фристайлеры от науки, нацеленные на максимально широкий информационный захват независимо от того, где формально расположены сведения по интересующей их теме. При этом и те и другие могут быть высокими профессионалами.

Такая эклектичность, кажется, становится все более характерной для современных теоретических и особенно практических опытов.

4

Конкретного опыта совместной работы с антропологами или социологами я не имею: в рамках грантовой деятельности приходилось взаимодействовать только с математиками и биологами. И все же прочитанные статьи позволяют заметить, например, что методы антропологии основаны в основном на сборе, систематизации и описании полевого материала.

Социологи предпочитают работу в фокус-группах и массовые опросы, которые отливаются после статистической и математической обработки в формы таблиц, диаграмм и т.п. Правда,

интерпретация всех этих результатов бывает не до конца удовлетворительной, не всегда раскрывает реальные причинно-следственные связи.

Приведу только один пример. В конце 70-х — начале 80-х гг. XX в. в Ленинграде было проведено анкетно-эмпирическое исследование отношения населения к разным видам социальной информации, в том числе к слухам. Результаты обработки полученных опросов дали, по выражению руководителей проекта, одно «яркое исключение»: 36 % опрошенных пенсионеров никогда не сталкивались со слухами (!). И это на фоне 89 % респондентов, признавших их существование. Кроме того, они почти не участвовали в процессе слухотворчества и слухораспространения [Лосенков 1983: 76–87].

Вместе с тем понятно, что неверно было представлять полученные результаты как объективное свидетельство высокой сознательности пенсионеров. Эти результаты скорее иллюстрация искажения психологии масс, вызванного политикой тоталитарного режима. Уже XIII партийный съезд (май 1924 г.) в специальной резолюции выступал «против распространения непроверенных слухов <...> и аналогичных приемов, являющихся излюбленными приемами беспринципных групп, заразившихся мелкобуржуазными настроениями» (цит. по: [Валентинов 1991: 94]). С началом Великой Отечественной войны меры по пресечению ложных слухов были ужесточены, а в июле 1941 г. введен в действие специальный Указ Президиума Верховного Совета СССР. По нему с июля по ноябрь 1941 г. военные трибуналы осудили 1423 человека [Покида 1990: 19].

Итак, декларации респондентов — советских пенсионеров — о невключенности их в процесс слухообразования на поверку оказываются отголосками «строгой школы жизни» — доказательством одного из множества «страхов» того поколения, которое пережило репрессии и тотальный информационный контроль.

5

Ситуация, когда ученый оказывается неудовлетворенным конкретными результатами, добытыми его коллегами по смежному научному цеху, а отсюда недовольным «конкурирующей» отраслью в целом, кажется более чем типичной. Насколько позволяет мне судить собственный научный и околонаучный опыт, она может касаться не только антропологии или социологии, а любого междисциплинарного взаимодействия.

Философы надменно вопрошают лингвистов, что нового по сравнению с универсальными законами развития природы, общества и человека те открыли, копаясь в своих текстах.

Лингвисты, по известному замечанию А.Е. Кибрика, «постоянно от чего-то отмежевываются. Любимый их способ уничтожить идейного противника — это заявить: “Это не лингвистика” <...> Трудно представить себе более кастовую науку, чем лингвистика». А коммуникативисты, или специалисты по теории коммуникации, претендуя на интегративное осмысление глобальных процессов коммуникации, стремятся собрать под свою крышу чуть ли не все гуманитарные области и направления. Достаточно взглянуть на оглавление любого вузовского учебника по этой дисциплине и обнаружить в списке ее базовых основ философию, социологию, психологию, лингвистику, культурологию, семиотику, политологию и т.д.

Ряд подобных примеров открыт.

Можно назвать это явление профессиональным снобизмом, можно характеризовать более прямо и грубо. Факт остается фактом: охраняя свой суверенитет, утверждая свою исключительность и критически оценивая результаты работы коллег, расположившихся на сопредельных территориях, гуманитарии часто излишне категоричны в своих оценках в глаза и за глаза.

Интересно, что студенты очень быстро усваивают этот образ мыслей. Я общаюсь в основном с начинающими журналистами, лингвистами и литературоведами. И у каждой из групп наготове клише для своей «защитной профессиональной грамоты»:

— Журналисты — практики. Мы творцы, мы тексты пишем, а вы их только препарировать умеете.

— Литературоведы — интеллектуалы, эстеты. Мы самостоятельно мыслим и красиво говорим. Мы в курсе всех литературных новинок и на острие культуры.

— Лингвисты — самые ученые. Только у нас есть настоящие инструменты для анализа любого текста. Только мы с точностью в состоянии ответить на вопрос «Что это?», а главное, на вопрос «Как все это работает?»

Хочу надеяться, что во взаимоотношениях антропологов и социологов царят большая терпимость и согласие.

Как ни парадоксально, такое более или менее агрессивное предметное противостояние помогает сохранять уверенность в эвристической ценности собственной науки.

6

Здесь приходит на ум некая банальность. Совместные исследования — нормальная практика и положительная перспектива современной науки при условии, если эта деятельность происходит в рамках творческого, хорошо продуманного, идеологи-

чески оформленного проекта, а не представляет механическое соединение случайных научных групп, члены которых мотивированы лишь преференциями полученного гранта.

Библиография

- Валентинов Н.* (Н. Вольский). Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина. М.: Современник, 1991.
- Лосенков В.А.* Социальная информация в жизни городского населения. Л.: Наука, 1983.
- Покида Н.И.* Слухи и их влияние на формирование и функционирование общественного мнения: Автореф. дис. ... к.филос.н. М., 1990.

КОНСТАНТИН РАНГОЧЕВ

1

Мне очень трудно думать о соотношении между социологией и антропологией в принципе — у каждой научной традиции есть свой уникальный (более или менее) опыт, и поэтому я буду говорить исходя из своего болгарского опыта. Прежде всего, я не уверен, что можно говорить о «соотношении» этих наук. Скорее всего, мы можем сказать, что у каждой из них есть свой фокус или своя точка зрения на один объект — на человека и его общество. Но поскольку человек не может существовать вне общества... Метафорически можно сказать и так: социология изучает дома на главной улице города, а антропология — дома чиновников городской думы на главной улице города. И это только одна сторона проблемы. Другая сторона — этнология. В болгарской науке, которую я лучше знаю, с начала 1990-х гг. антропология и этнология занимают (или скорее пытаются занимать) несколько разные позиции — первая хочет рассматривать людей как индивидов, а вторая — как общность. Но в сущности это не очень важно. На мой взгляд, важно то, что эта диада должна стать триадой: антропология / этнология — социология — лингвистика. Без изучения языка человека как носителя своей культуры мы будем «играть

Константин Рангочев

Институт математики
и информатики Болгарской
Академии наук / Ассоциация
по антропологии, этнологии
и фольклористике «ОНГАЛ»,
София, Болгария
krangochev@yahoo.com

в бисер». И это очень важно, особенно для болгарской теории познания, потому что известно, что в болгарском языке множество диалектов, иногда очень отличных друг от друга. А разные диалекты, вероятно, говорят и о разнице, возможно и очень небольшой, в ментальности (картине мира) своих носителей. В последние годы в антропологических / этнологических специальностях, которые преподаются в болгарских университетах, помимо собственно антропологических курсов появились курсы и по археологии, биологической антропологии, психологии, политологии, религиоведению (богословию), социологии. К сожалению, за небольшими исключениями, еще не появились лингвистические курсы, а время бежит быстро... Но и это еще не все. Я думаю, что эту триаду можно рассматривать не как строгую научную триаду с четкими границами, а как большое исследовательское поле. На нем пересекаются средства, методологии, теории самых разных наук, не только гуманитарных (например, теория диссипативных структур Пригожина и ее применение в этнологии). Вкратце на проблему, сформулированную в первом вопросе, можно ответить и так: это взаимопересекающиеся множества, которые не совпадают одно с другим. В зоне пересечения множеств находятся гениальные социологи и антропологи, а вне ее — остальные.

2

Естественно, это фокус или разные точки зрения на объект исследования. На мой взгляд, социология смотрит на лес или на отдельные лесные массивы, но ей трудно увидеть деревья или отдельное дерево. Антропология, наоборот, смотрит на деревья и иной раз не видит леса. Но эти две области знания иногда забывают, что каждый эмпирический факт сам по себе многозначен, он фиксирует определенное явление, но не показывает его сущность. Сущность надо раскрыть (истолковать). В мире социального (что-то означает нечто) у всего и вся есть свой смысл, даже у одного и того же явления могут быть разные смыслы, которые вносят в него разные люди или сообщества. Социологические исследования, в сущности, фиксируют артефакты, которые сами по себе не имеют познавательной ценности. В большинстве случаев они могут лечь в основу самых разных интерпретаций в совершенно разных направлениях. И обычно так и получается, особенно когда речь идет об изучении политических настроений или политического пространства. Вся проблема заключается в раскрытии смысла. С другой стороны, антрополог / этнолог, как правило, всегда исследует чужую культуру, и даже когда изучает собственную этническую культуру, он пересекает границы — явные и неявные — между двумя людьми, двумя домами, двумя обществами, двумя деревнями, двумя этнографическими группами, двумя этносами...

И таким образом антрополог, перманентно пересекая границы, становится посредником между разными культурами, «забывая» о собственной культуре; о своих очках, которые в конце концов моделируют мир. А если мы посмотрим на рефлексии и авторефлексии антропологии и антропологов или соответственно социологии и социологов, то ситуация получается иногда комичная: один из хороших болгарских фольклористов в начале 1990-х гг. стал экспертом одной политической партии, и в течение десяти лет его представляли по телевидению как фольклориста, этнолога, антрополога, социолога, политолога. И он явно был согласен с этой многогранной номинацией.

3

Однозначно это город и городские исследования (Etnologia Urbana). По-моему, это *locus communis* современного гуманитарного мира. Здесь у социологии есть свои технологии и методологии, которые доказали свою эффективность. В сочетании с антропологическими технологиями они могут дать хорошие результаты. Другая очень благодатная область — изучение новых сакральных центров разных религий. За последние двадцать лет я наблюдал создание, появление, оформление двух таких центров в Родопских горах: православный центр *Кръстов / Кръстова гора — манастир «Св. Троица»* (Крестовый лес — монастырь «Св. Троица») и исламское святилище *Енихан* (Новый хан). Большое количество паломников, динамика праздников и пр. показывают, что социологические и антропологические методы будут хорошо работать совместно. И наоборот, с моей точки зрения, при изучении разных сообществ, в частности религиозных, сочетание методологий антропологии и социологии работает не очень эффективно. Возможно, предварительное формулирование тезиса (гипотеза, теория или прямой заказ?) тоже оказывают свое негативное влияние. Например, несколько месяцев назад в Болгарии объединенная группа из одного социологического агентства и антрополога из одного частного вуза совместно провели исследование о политических, религиозных, экономических установках магометан Болгарии. По словам руководителя исследования, оно показало, что эти установки говорят о тенденции к формированию так называемого «помацкого (болгаро-магометанского) этноса», т.е., по всей вероятности, подходящий вопрос провоцирует подходящий ответ. Оказалось, что, с одной стороны, эта группа социологов и антропологов реанимирует старый коминтерновский тезис этнического происхождения: этническое происхождение можно создать, выбрать и т.д. С другой — религия создает и определяет этнос. Естественно, эти исследователи не ставили подобных вопросов и не исследовали тенденции к формированию других новых этносов у болгар разных евангельских сект, болгар-кришнаитов или у болгар-атеистов.

Приведенный пример показывает, что политические внушения, политические заказы, которые имеют и существенные финансовые измерения, толкают социологию и антропологию / этнологию из поля науки в поле купли-продажи. Иначе говоря, принцип «кто платит, тот и заказывает музыку» для ученых чреват опасностью перестать быть учеными. Как писал мой покойный учитель Т.Ив. Живков, на Балканах история этнологического познания есть часть истории нравственного поражения науки.

4

У меня небольшой опыт совместной работы с социологами. Разочаровывающий. Не стоит комментировать.

6

Количество, размер, измерение — это сила или слабость? Это проблема для обеих наук. Как бы мы отнеслись к количественному исследованию в социологии, в котором были бы опрошены пять человек? А как относимся к антропологическому описанию обряда, где информантами являются пять человек? Или описание праздника города от пяти человек? Что расскажет участник парада, что расскажет тот, кто смотрит на него только с тротуара, и что расскажет о параде телезритель? Однако, на мой взгляд, один из самых проблемных аспектов антропологических / этнологических исследований связан со спецификой полевой работы. Самый обычный случай — когда исследователь добывает антропологическую информацию в разговорно-интервью (свободном, структурированном и т.д.), и тогда он смотрит в глаза информанту. Иначе говоря, изучаются явления, которые принципиально надличностны, они создаются и функционируют в определенной, обычно малой, сельской или другой общине, а информацию о них получают от отдельной личности и в форме личных воспоминаний. Кроме того, важен еще один аспект антропологических изысканий: они содержат очень высокий процент абстракции. По ряду исторических, объективных и субъективных причин: технологии записи (в начале 1980-х я начинал свою полевую работу с тетрадью и авторучкой), предрассудки (моральные, идеологические, научные), степень информированности и научной подготовленности (приверженность к той или иной научной школе или авторитет учителя) — записи болгарского фольклора, которые изучают и с которыми работают исследователи-антропологи / этнологи, на практике обычно содержат только частичную информацию. Несколько примеров: очень часто песни записаны только как текст, мелодий песен нет или к ним есть пометка «Поется на мелодию...» А если есть нотация песен, то проблема другая. Известно, что нотация болгарских песен принципиально очень плоха (европейская нотная система создана для нотации симметричных тактов, таких как 1/2, 1/4, 2/4 и пр., а болгарский музыкальный фольклор обычно имеет несиммет-

ричные такты — 3/4, 5/8, 7/8, 11/8, 12/8, 15/8), и даже музыкологи говорят, что очень трудно, иногда просто невозможно записать некоторые песни, используя такую нотацию. Что касается прозаических форм, то они обычно не записываются в своей естественной среде, часто это невозможно, т.е. их реальный контекст уже потерян. Абсолютное большинство записей обрядов делается методом структурированного интервью, потому что уже нет возможности их наблюдать и записывать методом непосредственного наблюдения. Отсюда вопрос: что таким образом записывается? Очевидно, записывается не обряд сам по себе, а то, «каким должен быть» обряд. Одна коллега рассказывала такой случай: в конце 2000 г. записывала свадьбу от одной женщины в Восточных Родобах. Женщина — магометанка, а у болгар-магометан свадьба очень сложная, у нее очень богатая обрядность, занимает около недели, и ее запись длилась несколько часов. Потом исследовательница спросила информантку: «А ты так выходила замуж?» — «Нет, куда там! Мы с моим мужем были очень бедные, решили пожениться, собрались, вызвали ходжу, он прочитал никях [магометанская молитва, которая удостоверяет бракосочетание], и все». Этими примерами я хочу показать, что выводы в антропологии / этнологии делаются обычно на основе скудной и недостаточной информации, и таким образом антропология / этнология становится все более и более дедуктивной наукой. А социология, наоборот, индуктивна, но большая опасность кроется за обычно нейтральными числами, за которыми стоят определенные смыслы. Адекватное получение смыслов и их интерпретация находятся именно в месте пересечения наук.

ПАВЕЛ РОМАНОВ, ЕЛЕНА ЯРСКАЯ-СМИРНОВА

1

Павел Васильевич Романов

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва / Центр социальной политики и гендерных исследований, Саратов
pavel.romanov@gmail.com

Елена Ростиславовна

Ярская-Смирнова

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва / Саратовский государственный технический университет
elena.iarskaia@socpolicy.ru

Один из ответов на этот вопрос мог бы быть таким: исторически это были две разные дисциплины, родившиеся в разных институциональных контекстах и в ответ на различные вызовы со стороны управления, политики. Если социология возникла в XIX в. как попытка сформировать непротиворечивую картину современного индустриального общества, его структурных элементов и обосновать «научные» приемы управления этим модернизированным обществом, то социальная антропология была призвана улучшить колониальное правление / управ-

ление культурным многообразием — тоже научными, рациональными способами, в духе проекта позднего модерна. Так они и существовали в почти не пересекающихся мирах, несмотря на усилия отдельных представителей совершать интервенции в суверенные дисциплинарные области друг друга. На память сразу приходят призывы Малиновского и Уайта сделать антропологию полезной для управления современным индустриализованным обществом, изобретение прикладной и индустриальной антропологии. Это были атаки на границы со стороны антропологов, а со стороны социологов можно вспомнить чикагскую школу, развитие методов включенного наблюдения, этнографии городских сообществ, осуществленные университетскими социологами. Со временем, особенно после падения колониальных режимов, этот тренд, заключающийся для антропологов в проникновении в современные и близкие им общества, а для социологов — в усилении нарративности в изложении результатов исследований и акценте на качественных данных, только усиливался, и в 1970—1980-е гг., в так называемый период «размытых жанров» (*blurred genres*) границы между социологией и антропологией на Западе начали стираться.

Вторая версия ответа такова: это две исключительно важные области знания о человеке и обществе, фокусирующиеся на различных аспектах социальных отношений, социальных институтах и культуре. Если отбросить формальные признаки институциональной принадлежности академической дисциплины, эффекты департаментализации, разделяющие и определяющие ученых, то важнее было бы говорить не столько (или не только) о водоразделе между социологией и антропологией, сколько о разных социологиях и антропологиях. Различия обусловлены эпохой, социализацией профессионалов, их специализацией, научной школой, которую они представляют. В этом смысле социология и антропология — это полезные и глубокие методологические метафоры. Например, мы можем применять «социологическое воображение» как интерес к тому, что находится за пределами очевидного и принимаемого по умолчанию, интерес к повседневности обычных людей и скептическое отношение к нормативному порядку. И представить себя в роли антропологов, интересуясь другими — культурами, обществами, индивидами, рефлекслируя по поводу сложных дилемм, возникающих в полевой работе, образовании.

Среди отечественных антропологов, как оказалось, тоже нет единогласия по поводу предмета и особенностей методологии. В начале 1990-х гг. многим стало ясно, что социально-антропологический взгляд на культуру и общество выгодно отделял но-

вые направления в исследованиях и образовании как от приземленного эмпиризма российской этнографической традиции, так и от советской философской схоластики. Надо сказать, что и среди выходцев из рядов этнографов было немало тех, кто был не вполне удовлетворен консервативной ограниченностью предмета исследования полем этнокультурной традиции. А с появлением отечественных социальных антропологов (в том числе на социологических факультетах) возникла конкурентная ситуация. Ведь отечественные этнографы за границей и в англоязычных публикациях давно называли себя антропологами, и в начале 1990-х гг. подобное размытие границ лишало их «права первородства».

Разгорелся конфликт, который конструировался в терминах политического антагонизма. Такой дискурс вряд ли мог способствовать легитимации социальной антропологии как научной дисциплины и образовательной программы, и хотя первоначально он был направлен против «чужаков»-социологов, вторгшихся на поле классической этнографии-антропологии, впоследствии он обернулся против самой специальности, став дополнительным аргументом для ее исключения из сферы высшего образования в том или ином виде. В любом случае противоречия внутри сообщества университетских и «РАНовских» социальных антропологов к концу 2000-х гг. вдохновили узкий круг единомышленников на действия по продвижению альтернативного стандарта по дисциплине. Вполне вероятно, что вначале эти конфликты способствовали делигитимации социальной антропологии, которая была исключена из списка направлений бакалавриата, а затем ее недавней реинкарнации (см. Приказ № 2099 о включении в перечень направлений профессиональной подготовки на квалификацию бакалавра нового направления — 032400 «Антропология и этнология»). Какова будет новая жизнь этой новой образовательной программы — в каких вузах она будет лицензирована, какие профили-специализации будут выбраны, а главное — каковы будут траектории ее выпускников — покажет время.

2

Этот вопрос можно трактовать двояким образом: находятся ли в центре рассмотрения идеальные типы антрополога и социолога, какими мы их воображаем, или реальные российские антропологи-этнографы и представители социологической профессии. Идеальные типы, или лучше здесь сказать стереотипы, рисуют нам в воображении антрополога с блокнотом и / или вооруженного фото- / видеокамерой,двигающегося с экспедицией в каком-то удаленном, не тронутом цивилизацией уголке земли, в окружении местных экзотов. Или если кто-то изучает «этнические аспекты» — благополучия людей, выборов, неравенства, преступности, мигра-

ции, — то многие согласятся, что это уж точно антропологи. В свою очередь, стереотипный образ социолога — это некто офисного вида с пачкой анкет в руках или у компьютера проводит статистический анализ очередного опроса, или разбирает расшифровки фокус-группы, суммируя мнения респондентов. Разумеется, эти образы к реальности имеют лишь приблизительное отношение. Однако такие строгие различия разделяются многими людьми, нашими современниками и коллегами. На этом строятся их научные проекты и идентичности, сети академических контактов и ссылочный аппарат. А иногда инициируются конфликты и предпринимаются кампании, которые наполняют интеллектуальное поле риторикой противостояния институтов, дисциплин и школ.

Поскольку мы занимаемся еще и издательским делом, для нас дисциплинарная принадлежность авторского текста проявляется при подготовке выпуска журнала или сборника. Здесь атрибуты текста более важны, чем регалии или ученые степени автора. В таком случае дисциплинарную принадлежность тексту придает, например, ссылочный аппарат, где задействована научная периодика с эксплицитными названиями. А вот междисциплинарность исследования, которая могла бы проявляться как в методологии, так и в обращении к результатам самого широкого круга авторов, сегодня трудно встретить в силу специфической цеховой организации научной жизни. Тем не менее все чаще появляются междисциплинарные проекты и публикации, например исследования города, визуальные исследования.

3

Единственно возможным ответом здесь является полная свобода вторжения, тогда как запреты и табу здесь характеризуют чрезмерную дисциплинарную закрытость, стагнацию и консерватизм, центральную, закосневшую зону «нормальной науки». В постсоветской России, как и во многих других постсоциалистических странах, этот центр был сформирован и занят этнографами Академии наук и университетских кафедр, расположенных на факультетах истории. А периферия (в данном случае здесь оказались социологические факультеты) на какое-то время в 1990-е гг. оказалась способна принимать решения в поле высшего образования, организовав специальность и открыв факультеты социальной антропологии. Возникло несколько режимов производства знания, разные стили научной работы, именовавшейся социальной антропологией. Между режимами были трения, но возникали и компромиссы, а в ряде случаев складывались отношения сотрудничества и признания. Именно в таких случаях и происходили интересные прорывы в науке — новые исследовательские журналы, проекты, крупные публикации и форумы.

Научный поиск границ не знает и не должен быть прогулкой по минному полю. Он может развиваться как ответ на вызовы со стороны общества в направлении решения фундаментальных или прикладных задач методологического или теоретического характера. Есть предельные атрибуты научного поиска как такового — речь идет о мертоновских критериях научности, вот на них и следует ориентироваться.

4

Мы склонны считать себя как социологами, так и социальными антропологами, исследователями организаций, социальной политики, социальных служб, культурных репрезентаций — даже наша кафедра в Саратове называлась кафедрой социальной антропологии и социальной работы. Но нам нередко приходилось успешно взаимодействовать с людьми, чья идентичность более определенно относится к антропологии и этнографии. Одной из первых прорывных попыток была публикация в 2000 г. статьи «Этнографическое воображение в социологии» в журнале «Этнографическое обозрение». Перед тем как быть опубликованной, статья пролежала в редакции не менее трех-четырёх лет, вначале с ней ознакомился В.Н. Басилов, затем другие редакторы, пока наконец она не увидела свет. В 2000-е гг. мы продолжали публиковаться в этом журнале и принимали участие в подготовке некоторых рубрик в качестве авторов и редакторов.

Вместе с тем в 1990-е и 2000-е гг. нам доводилось слышать от этнографов, что мы не антропологи, а некоторые социологи не признавали в нас своих. Вероятно, кроме обычных для науки межличностных трений это отражает приверженность многих ученых формальному делению пространства социальных наук на кафедры, дисциплины, узкие области и оправдываемое этим опасливое отношение к непривычным подходам, методам, логике интерпретации.

Совместная деятельность с антропологами и социологами не позволяет выделить какие-то принципиальные родовые различия в методах, подходах и результатах, если не считать, что в социальной антропологии скорее маргинальны количественные подходы, основанные на массовых опросах, статистическом анализе, а в социологии, наоборот, этнографические, нарративные методы прокладывают себе пока что окольные пути. Многие отечественные антропологи нередко стремятся формулировать свой предмет через призму этничности или локальной традиции, а социологи нередко страдают таким империализмом европейского модерна: они уверены, что их выводы носят универсальный характер, — не учитывают исторической перспективы и многообразия проявлений тех или иных феноменов в разных контекстах. Но это скорее общие пробле-

мы нашей академии, и есть ли здесь что-то сугубо дисциплинарное? Ведь примеров, иллюстрирующих совершенно иные, комплексные, междисциплинарные, грамотные и аккуратные приемы применения методов, подходы к интерпретации, сегодня достаточно.

5

Многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, взаимодействуя с авторами статей, исследований, конкурсных заявок, имеют общий характер для всех социальных наук — слабое знание научных публикаций по своей теме, недостатки методологии, непроговариваемая или отсутствующая теоретическая рамка, дефицит аналитики.

Аналогичные проблемы мы встречаем в статьях, поступающих как от социологов, так и от историков, как от антропологов, так и от фольклористов. Тут главное — зрелость и мастерство исследователя, а не дисциплинарная принадлежность.

6

Как мы и формулировали выше, ответ на этот и предыдущие интересные вопросы редакции зависит от того, рассматриваем ли мы антропологию (и социологию) как дискурсивную формацию, как феномен, подвергаемый интерпретации, как поле науки, пронизанное конкурентной борьбой, или как некий овеществленный объект.

Вглядываясь в иерархическую структуру дисциплины как в дискурсивную формацию, представляя ее не как слепок идеальной модели, а как процесс достижения соглашений, мы видим, что в создании такой картины важнейшую роль играют процессы наименования. Вместе с тем институциональная организация социальной антропологии, как и социологии, не сводится лишь к способам номинации, но предполагает вполне конкретные практики — потребления ресурсов, организации профессионального общения, сертификации. Разные точки отсчета и область применения социально-антропологических и социологических исследований задаются идеологиями конкретных исторических ситуаций, теоретических школ, источниками и структурой финансирования. Здесь переплетаются между собой ценности академической дисциплины, публичной политики, прав человека и рыночных отношений.

Согласимся с Крисом Ханном в том, что перспективы развития социальной антропологии состоят не в ее обособлении от локальной этнографической традиции, а в создании своеобразного интегрированного знания, совмещающего «космополитическую антропологию» с этнологией и фольклором. Взаимная польза, по его и нашему мнению, здесь налицо: такой союз поможет продвинуть видение антропологии как зрелого синтеза *Volkskunde* и *Völkerkunde*. Заметно определенное

движение в сторону интеграции, растет число публикаций и конференций по проблематике гендерных, визуальных и городских исследований, антропологии профессий и организаций, повседневности.

Ситуация с образовательным стандартом по специальности высшего профессионального образования «социальная антропология» в целом показательна для недавних образовательных реформ в России. Ключевые решения относительно государственного стандарта, создающего основу для конкретных учебных планов в университетах, были приняты без широкого обсуждения экспертами и вне демократических механизмов. Управление содержанием стандартов оказалось сверхцентрализованным, будучи захвачено академическими группами влияния, стремившимися укрепить свою символическую власть. Стратегии действия УМО, с одной стороны, характеризовались волюнтаризмом и вынужденной дисциплинарностью, искусственно загоняющей образовательную программу в жесткие отраслевые рамки. К этому были вынуждены приспособляться и университетские администрации, и специалисты-профессионалы, реализующие это образование, которые воспроизводят в своих публичных выступлениях и рабочих программах курсов установленный наверху статус кво.

С другой стороны, очевидная гибкость стандартов, возможность их дополнять, давать свою трактовку, как и другие условия локальной доработки, создают kaleidoscopic картину разнообразных воплощений программы и формирования идентичности преподавателей, студентов и выпускников социальной антропологии. И хотя усилия различных агентов поля социальной антропологии по укоренению высшего образования в этой области были противоречивыми, в результате возникли оригинальные научные школы, исследовательские центры, началась интеграция в международные научные и образовательные сети. Заметны плодотворные усилия по организации летних школ, новых журналов и научных семинаров, конференций. Теперь, когда приняты стандарты бакалавриата и магистратуры по новому направлению «Антропология и этнология», социальная антропология, надеемся, получит новое дыхание и продолжит свое движение в поле отечественного высшего образования в несколько изменившемся составе и с новыми перспективами развития. Перспективы эти во многом будут зависеть от усилий заинтересованных коллективов и их лидеров, от всех тех, кому небезразлична судьба этой дисциплины. Укрепятся ли на этом поприще сложившиеся альянсы и возникнут ли новые междисциплинарные проекты — наш взгляд, да, и эти процессы уже начались. Будут ли возведе-

ны новые стены и построены крепкие границы между школами и дисциплинами? Скорее всего, сила новых научных школ будет состоять в междисциплинарных связях, новизне и остроте поставленных в исследовательских проектах проблем.

СВЕТЛАНА РЫЖАКОВА

Антропология vs. социология (о наследии прошлого, здравом смысле и злобе дня)

Поразмышлять об антропологии и социологии, их близости и различиях, сочетаемости и несовместимости, родстве и отчужденности друг от друга меня вдохновил замечательный индийский ученый Андре Бетей (André Béteille). Его собственная как личная, так и научная биография — прекрасный пример промежуточного, как «западно-восточного», так и «антрополого-социологического», пограничного положения, где, как известно, не просто пребывать, но откуда хорошо наблюдать. Едва ли кто-то еще в индийской социальной науке так много думал и писал о поставленной «АФ» теме (см., в частности, сборник его статей и эссе: [Béteille 2009]); мы же обсуждали ее осенью 2008 г. в Москве, на одной индороссийской конференции. А. Бетей родился во французско-бенгальской семье в Чандернагоре, учился в Калькуттском университете на факультете антропологии, тут получил и докторскую степень. Но потом, когда более отчетливо сформировались его методология, подходы, интересы, он определился как социолог, а ныне стал одной из ведущих фигур в индийских социальных исследованиях (как в исследовательской, организаторской, так и в преподавательской деятельности). В 1959–1960-х гг. он преподавал политическую социологию в Делийской школе экономики, особое внимание уделяя разработке сравнительного метода. Занимаясь, по совету М.Н. Шриниваса (которого принято называть скорее антропологом) социальной структурой (концепция

Светлана Игоревна Рыжакова

Институт этнологии
и антропологии РАН,
Москва
lana@mega.ru

которой и подходы к изучению которой были унаследованы Шринивасом от его британских учителей Рэдклифф-Брауна и Эванс-Причарда), А. Бетей написал свою первую книгу “Caste, Class and Power” (1965). Вскоре, ощутив эвристическую ограниченность концепции социальной структуры, он сфокусировался на изучении конкретных социальных институтов. И наконец, по его собственному признанию, он укрепился в скептицизме (заимствованном во многом из мощной антропологической традиции полевых исследований) по отношению ко всем моделям, предлагающим стройные схемы и элегантно теоретическое разрешение проблем, коренящихся в повседневной жизни людей.

То, что как под «социологией», так и «антропологией» в разных странах и научных традициях понимаются разные вещи, я поняла, занимаясь этнографической работой в балтийских странах и в Индии. Более того, нельзя быть до конца уверенным, что люди, принадлежащие к разным национальным научным школам и называющие себя «антропологами» или «социологами», занимаются одним и тем же делом, используют сходную методологию, да и вообще понимают друг друга при встрече. Например, характерное для российской ситуации противопоставление методов, преимущественно качественного в антропологии и преимущественно количественного в социологии, совершенно не типично для тех же по названию индийских дисциплин [Das 2003], многие труды “Anthropological Survey of India” для нас выглядят как социологические обзоры с обилием статистических данных. В Индии социологи активно работают в неправительственных организациях, множестве разных агентств, занимаются социальной адвокатурой, экспертизой, участвуют в социальной инженерии.

Я занимаюсь этнографией Индии, главные области моих интересов — исполнительское искусство и религиозная культура, их социальный и региональный контексты. В индийских (как, кстати, часто и европейских) книжных магазинах и издательствах, публикующих литературу по моей специальности, я многое ищу и нахожу в разделах “Sociology”. В России этого не было никогда, и причина тому отнюдь не в отсутствии отечественных социологических работ по данной тематике. Подчас создается ощущение не просто «многоликости» этих дисциплин, но даже того, что под их названиями происходит несколько «параллельных жизней», как дискурсивных, так и методологических, как имеющих отношение к научному знанию, так и весьма далеких от него, в том числе решающих политические и коммерческие задачи.

При всей универсальности антропологии и социологии как дисциплин, при том, что и территориально, и методологически они рождались для изучения всех возможных человеческих обществ и культур, не исчез и парохийный феномен национальных школ, которые в определенной мере являются «родовыми пятнами» (а в ряде случаев и «травмами») на «теле» этих дисциплин. Полезная во многих других случаях теория языковой неперевоодимости тут сыграла роль «тормоза», дав словно бы «индальгенцию» и «освободив» многих гуманитариев от необходимости двигаться в направлении концептуального перевода понятий.

Однако истоки обеих дисциплин едины. Каждый студент антропологии и социологии изучает целостную интеллектуальную традицию XIX в., деятельность и работы одних и тех же авторитетов. Среди прочего важный урок, который нам преподносят жизнь и труды Бронислава Малиновского, Макса Вебера и Эмиля Дюркгейма — сочетание отчетливо сформированного мировоззрения, умения различать представления и действия изучаемых людей и сообществ, верности разработанному методу, а также огромной смелости в продвижении по избранному пути. Пример тому — исследование феномена самоубийств Э. Дюркгеймом, коренным образом изменившее взгляд и на это явление, и на порождающие его причины и задействуемые социальные механизмы.

Четвертого ноября 2011 г. Владислав Волков, латвийский социолог, исследователь русских жителей Латвии, пригласил меня в Даугавпилс принять участие в Балтийских социологических чтениях. Почетным гостем тут стал литовский профессор Арвидас Матулёнис. Он произнес проникновенную приветственную речь, рассказав об истоках проводимого мероприятия, поздравил латвийских социологов с инициативой, которую они проявили, возрождая традицию Балтийских социологических встреч. Эти встречи начали проводиться в 1960-е гг. в Тарту, Каунасе и т.д., и в результате такого сотрудничества сформировалось Прибалтийское отделение Советской социологической ассоциации. Сам А. Матулёнис был последним ее председателем: с развалом СССР исчезло и это Отделение, параллельно шло вообще некоторое оскудение всех научных контактов между бывшими советскими республиками. Чтения 2011 г. шли под названием «Национальные школы социологии в Балтийских странах: 1991–2011 гг.», однако общебалтийских тем и сравнений тут представлено не было: сам Матулёнис был вынужден тут же уехать, осталась только одна его литовская коллега, не делавшая доклада, но активно выступавшая с вопросами (она задавала их по-русски; к ней был приставлен переводчик, т.к. чтения шли по-латышски). По

сути дела, во всех докладах латышских социологов речь шла о конкретных социологических и социальных проблемах Латвии, я не увидела ни большой осведомленности, ни особенной заинтересованности сходными проблемами даже в современных Эстонии и Литве. А может быть, подобная задача расширения взгляда просто не ставилась. Кстати, близким в этом смысле стал прошедший в Латвии 24–26 октября Объединенный Третий всемирный конгресс латышских ученых и Четвертый конгресс Летоника «Наука, общество и национальная идентичность», где почти все доклады были посвящены разным аспектам латышской этнонациональной идентичности. На социологических же чтениях единственный мой несоциологический доклад о современной этнологии и ее национальных школах стал своего рода «инопланетным посланием», не только благодаря описанной мною малоизвестной тут ситуации в России: социологи не были хорошо осведомлены в области и латвийской этнологии, антропологии, фольклористики. В общем, довольно похожую ситуацию можно наблюдать и в Литве: во всех гуманитарных дисциплинах создается впечатление хорошо разделенного пространства, где люди стараются даже не заглядывать через забор соседа. В этнографии, фольклористике, исторических дисциплинах и Латвии, и Литвы существуют активные последователи некоторых направлений, не менявшихся с конца XIX в.

Тем не менее перемены происходят. Антропология (социальная, так как речь идет о выпускниках британских университетов, Окфорда и Кембриджа) развивается в Латвии благодаря таким совсем еще молодым ученым, как Айвита Путныня (гендерные проблемы), Клавс Седлениекс (тема коррупции), Даце Дзеновска (экономические и политические аспекты власти, а ныне — тема сельских жителей), а также ставший недавно министром образования Робертс Килис (в 1990-е гг. изучавший латышской Сибири). Интересные религиозоведческие труды пишут Агита Мисане и Агита Лусе. Социальный контекст фольклористики анализируется в работах Даце Булы. Проблемами современной социальной коммуникации, политикой памяти в Латвии занимаются историк Вита Зелче (и ее студенты и коллеги), медиа-эксперт Сергей Крук, уже более десяти лет существует Архив устной истории, руководимый Марой Зирните, в этом же направлении интересные социологические работы проводит Байба Бела. Все это можно отнести и к антропологии, и к социологии (в широком, или первоначальном, смысле слова последней).

В России, как мне кажется, антропология — и культурная, и социальная — еще не пустила свои корни. Есть некоторые специалисты, работающие в похожей на эти дисциплины ма-

нере, есть отдельные блестящие работы, пытаются сформироваться образовательные центры, но все же, как мне кажется, ситуация еще далека до того, чтобы можно было говорить о культурной или социальной антропологии в России. Ведь тут речь должна идти о целом комплексе из образования, методологии (не только провозглашаемой в авторефератах диссертаций, но реально применяемой), навыков и опыта полевой работы, дискуссионного и критического поля. Советская этнография (при всей возможной ее критике, особенно с позиций сегодняшнего времени) имела свое «лицо», формат исследований и представления результатов. Многие хорошие современные работы по специальности 07.00.07 продолжают эту традицию, хотя и подкорректированную, с осовремененным лексиконом. Между тем в современной российской этнологии мы имеем дело с «размытием берегов» (что, по китайскому календарю, будет особенно характерно для 2012 г., года противостояния водной и земной стихии). Все гуманитарии и исследователи социальных наук находятся в такой ситуации, когда очень трудно оставаться в каком бы то ни было русле. Идет брожение — и идей, и людей, и финансовых потоков, пока что усиливается сегментарность, а во многом и отчужденность друг от друга всех видов деятельности. В таком положении вопрос о разделении дисциплин, их «лиц», методов, подходов и результатов вообще кажется преждевременным. Более актуальным сейчас представляется иной вопрос: что и зачем нужно вообще изучать? Что за «рыбу» мы можем ловить в воде современности, и чье «тело» она будет кормить? Вопросы же о методах и формальных результатах — как это делать, т.е. какими «удочками», «сетями» пользоваться, как раскладывать и нарезать «улов», как называть приготовленное «блюдо», — похожи на фантазии рыбака, только опускающего свою лодку в водную стихию. Я вижу несколько новых «рыб», которых еще не «ловили» ни российские антропологи (этнологи, этнографы), ни социологи, но которые хорошо подойдут и тем, и другим. Трансгуманизм — одна из них.

Не секрет, что во всех науках многое предопределяется временем и местом. Социальные науки, задача которых — взирать на все разнообразие обществ, оказываются несвободными от конкретной социальной данности. Британское колониальное наследие в 1920–1930-е гг. четко обозначило рамки представлений об «антропологии» и «социологии»: первые изучают «пержитки», «архаику», племена, вторые — развитые общества. Как сформулировал Э. Шилс, «большинство социологов изучает современные западные общества» [Shils 1981]. В рамках обсуждаемой нами темы это выглядит так: речь идет о социологическом «Западе» и антропологическом «Востоке». Соот-

ответственно, в Индии антропологи изначально были призваны изучать племенные группы, социологи — кастовое общество. Истоки этого разделения восходили, разумеется, к старинным представлениям о том, что племена не являются частью «общества», не входят в его иерархическую пирамиду и особенно не развиваются. Однако добросовестные антропологи и социологи межвоенного периода и особенно последующих времен оказывались, образно говоря, усердными «пилильщиками» этих самых «суков», т.е. своих принципов, на которых (как им казалось) они сидели. Постепенно становилось все более и более очевидным, что племенные сообщества или те, кто считается племенами, в Индии чрезвычайно разные, что отнесение того или иного сообщества к числу «племен» или «каст» обусловлено во многом политически. В северо-восточных областях Индии существуют давно оседлые, имеющие аристократию и социальное расслоение народы — нага, кхаси и многие другие, определенные в начале XX в. как племена и формально сохраняющие этот статус, который ныне в современной Индии разделяется уже не негативной, а позитивной дискриминацией. Едва ли можно считать одним племенем весь семимиллионный народ санталов. В то же самое время отдельные племенные черты обнаруживаются не только у них, но и в обществе и культуре высокостатусных раджпутов.

Примечательно, что не только Европа и Америка была «Западом», а Индия, Африка или Китай — «Востоком». Свой «Запад» и «Восток» был и есть и внутри самой, например, Индии. Социологом или антропологом в Индии человек становился, как это ни покажется странным, в силу своего места учебы. В Калькуттском университете в 1922 г. был открыт факультет антропологии, вскоре в других университетах восточных областей Южной Азии начали появляться подобные факультеты. В 1919 г. в Школе экономики и социологии Бомбейского университета была создана группа по изучению социологии (возглавляемая сначала сэром Патриком Геддесом (Sir Patrick Geddes), а с 1924 г. профессором Г.С. Гхурье (G.S. Ghurye) и ставшая в 1954 г. самостоятельным факультетом). Уже в 1920-е гг. его «клоны» возникли и в других университетах, но только западных земель Индии. Надо сказать, что попытки объединить антропологию и социологию в рамках одного факультета даже в самых небольших учебных и научных заведениях ни разу не дали положительного результата. Сходную ситуацию в западных университетах описал Андре Бетей. Взаимное отчуждение социологов и антропологов наблюдается всегда и всюду, несмотря на то что в свое время Рэдклифф-Браун не раз подчеркивал, что социология и социальная антропология — синонимы. Однако в Индии, как и в Британии,

речь идет не столько о «социологии» (в отличие от российской ситуации этим понятием по сей день обозначается не столько особая наука, сколько прежде всего методология, комплекс подходов, которыми в худшем случае может вооружаться хотя бы простой здравый смысл), а о «социальных исследованиях», или «социальных науках» (требующих академического образования), куда тематически и методологически входит то, что в российской действительности могут отнести к культурологии, истории, политологии, этнологии. Стоит обратить внимание на то, что многие представители первого и второго поколения индийских социологов — Беной Саркар, Г.С. Гхурье, К.П. Чаттопадхья, К.М. Кападия, Иравати Карве — имели хорошую филологическую подготовку, изучали санскрит и классическую индийскую литературу.

В институционализации как индийской антропологии, так и социологии, принципиальную роль сыграли два временных периода: начало 1920-х гг. (появление факультетов, а также в 1922 г. — старейшего индийского антропологического журнала “Man in India”) и первая половина 1950-х гг. («эмансипация» социологического знания, формирование самостоятельных факультетов, в 1951 г. начинает выходить первый профессиональный журнал “Sociological Bulletin”, создается Indian Sociological Society). Вспомним заодно, что до середины 1960-х гг. и в Оксфордском, и в Кембриджском университетах не было самостоятельных факультетов социологии, в то время как антропологические, конечно, были. Недоверие к социологии и снисходительное отношение к антропологии в 1950–1960-е гг. с большим юмором описано в работе Джорджа Хоманса [Homans 1962: 113–119].

В Индии всегда были и остаются (в последнее время меньше, чем в 1960-е гг.) борцы за чистоту своих дисциплин, особенно социологии. Принадлежность определенному клану, семье, касте, религиозной или интеллектуальной традиции и т.д. вообще чрезвычайно важный элемент индийской культуры. Принадлежность «социологии» или «антропологии» в Индии (вполне в духе системы *гуру-шишья парампара*) не в последнюю очередь определяется твоей университетской «инициацией» (какой факультет закончил, какую работу защищал, какую степень получил), но и такой же образовательной «историей» твоих учителей. Это особенно ярко видно на примере научных биографий тех, кто оказывался «создателями брода», «строителями мостов» между антропологией и социологией. Так, М.Н. Шринивас (по выражению Андре Бетя, «великий партизан в области социальной антропологии»), ученик Рэдклифф-Брауна, получивший антропологическое образование и докторскую степень в области social anthropology в Оксфордском

университете, имел также социологическое образование (магистерская, а затем и докторская степени по социологии в Бомбейском университете). В 1959 г. он первым возглавил факультет социологии Делийской школы экономики Делийского университета. Но и его статус как «социолога» мог быть оспорен ревнителями дисциплинарной чистоты. Таковым в Индии был, например, Кевал Мотвани, который в начале 1960-х гг. под видом всей социологии защищал конкретную исследовательскую традицию, отчетливо «книжную» и основанную на тексте «Законов Ману». Этому *book-view* твердо противостоял М.Н. Шринивас, для которого приоритетом работы и антрополога, и социолога была полевая работа, *field-view*.

Самая интересная и богатая часть любого антропологического или этнографического исследования, на мой взгляд, — это этнографическое описание, представление конкретного материала. Многие видные антропологи, даже авторы известных теорий, ехидно замечают, что теоретическая, аналитическая части, как правило, и даже у самых знаменитых ученых, выглядят слабо и неубедительно, подчас и для современников, не говоря уже о потомках (в разных контекстах об этом говорили и С.А. Арутюнов, и А. Бетей, и В.А. Тишков). Достаточно поверхностного чтения этнографических работ 50-летней давности, чтобы заметить это. Зато при всех переменах в антропологии и этнографии были и остаются склонность к «курьезам», внимание ко всему необычному, экзотическому, выходящему за рамки скучной обыденности. Вспомним известное определение нашей дисциплины: “Anthropology — the study of oddments by eccentrics” («Антропология — это изучение пережитков эксцентриками»).

Однако и в антропологии, и в социологии встречается печальная тенденция руководствоваться нерелективным здравым смыслом (*common sense*), который предопределен конкретной социальной средой, временем и другими обстоятельствами. Множество работ пишется с позиции одного лишь здравого смысла, оснащенного некоторыми технологическими навыками. Представляется, что это снижает аналитический уровень науки. Здравый смысл — то, с чем боролся один из отцов-основателей социологии Эмиль Дюркгейм. Выявление категорий, типов, составление классификаций — обязательная часть антропологической работы. Так, по словам антрополога Бернарда Кона, единицы исследования в антропологии — это «кодексы чести, власть, статус и авторитет, взаимообмен, правила поведения, системы социальной классификации, конструкции времени и пространства, ритуалы. Мы изучаем их в конкретном месте и на протяжении определенного временного отрезка, но изучаем культурные категории и процесс их конструиро-

вания, а не само место или время» [Cohn 1987: 47]. Однако фактор времени и места очень и очень существенны для хорошего антропологического исследования, т.е. оно должно быть достаточно «исторично» и «географично».

Другая проблема, актуальная для современной антропологии и еще более социологии, — это превращение культурных проблем в антропологические и социальных проблем в социологические. Эта процедура требует тонкого научного инструментария и особых навыков. В то же время имеется повсеместное стремление проводить исследования на «злобу дня» (*current affairs*), которые принесут «быстрый результат» (т.е. будут, что называется, *immediate return*). От этого ремесло антрополога и социолога также страдает, снижается профессионализм. Но сегодня крайне редки (особенно социологические) работы, приносящие «отложенный результат», «плоды» которых созревают долго (*delayed return*).

В истории всех социальных и гуманитарных дисциплин есть извечные темы, непроходящие проблемы, время от времени всплывающие на поверхность и обостряющиеся. Одна из них — это проблема научных языков, их креолизации, наличие не до конца переведенных понятий, искажений, необходимость и сложность концептуального перевода. В свое время, как кажется, более или менее разобрались с французским *sacré* и немецким *Politik*. С 1990-х гг. антропологи и социологи разных стран расправляются с термином *identity* как кому угодно. Один из самых одиозных примеров сегодня — понятие «секулярного» (секуляризм — одна из популярнейших тем исследования в индийских социальных науках в последнее десятилетие, хотя далеко не все пишущие понимают, о чем должна идти речь). В русском научном языке этнологии и социологии мы видим огромное количество не до конца переведенных английских терминов, в ряде случаев можно даже говорить о некоторой «пиджинизации» научной речи. Литовские востоковеды решили вопрос о языке радикально: журнал “Acta Orientalia Vilnensia”, выходящий в Центре ориенталистики Вильнюсского университета, с недавних пор печатает все свои материалы только по-английски.

Возвращаясь к теме сопряжения антропологии (этнографии, этнологии) и социологии, я вижу последнюю (точнее, *social science*) в сравнении с первой как дисциплину иного порядка, основывающуюся на антропологических работах как на своих источниках, но решающую иные задачи. Ведь социологический подход предполагает, что всякое общество живет по определенным законам, которые могут быть выявлены и четко описаны. Э. Дюркгейм писал в свое время о «социальных видах»,

подобных видам в живой природе, хотя и не столь жестко друг от друга отделенных. Рэдклифф-Браун тоже сравнивал человеческие сообщества с естественными организмами. Антропологический подход всего этого не исключает, но на этом не настаивает, он в большей мере выявляет временной и пространственный факторы существования конкретных сообществ. Этнографический же «лик» дисциплины — это вообще во многом наука «о пище, жилище и одежде», насыщенность деталями и подробностями здесь принципиальна. Социология же, по словам А. Бетея, «не наука об экономической, политической или хозяйственной, семейной жизни. Это не наука о классах, кастах или сообществах. Она также не посвящена идеалу социального равенства или реальности неравенства. Она о взаимосвязях между всеми этими и многими другими аспектами общественной жизни. Это представляет “функциональный момент” социологии, как кому-то, может быть, захотелось бы его назвать» [Béteille 2009: 64]. Главная работа социолога — поместить действия людей и события в контекст социальных процессов, социальных структур и социальных институтов. Последние являются научным конструктом и поэтому должны быть отчетливо проговорены, обозначены, как и концепты, и методы, которые применяются к анализу материала.

Мне хотелось бы, чтобы социология всегда была систематической и сравнительной, это возможно, но не столь обязательно для истории или антропологии. Социология должна освещать и выявлять взаимосвязи между самыми разными сферами жизни общества, определять социальные достижения, оценивать цену этих достижений. К сожалению, ныне в социологии происходит почти исключительно обмен фактами, очень мало работ, где предлагается и осуществляется обмен идеями. Социология ведь умеет быть «птицей» более «высокого полета», отрываться от земли, иначе она погрязает в статистических сводках. Антропология / этнография обязана быть укорененной в конкретном месте и времени, социология же должна быть свободной от этого. Обе дисциплины могут обращаться к изучению одного и того же сообщества, одной проблематики, но по-разному. Ведь и медики тоже наравне с ними могут изучать этих же людей, но у них будет написана своя «история болезни».

Библиография

- Béteille A.* Sociology. Essays on Approach and Method. 2nd ed. New Delhi: Oxford University Press, 2009.
- Cohn B.S.* An Anthropologist among the Historians and Other Essays. New Delhi: Oxford University Press, 1987.

- Das V.* (ed.). *The Oxford India Companion to Sociology and Social Anthropology*: 2 vol. New Delhi: Oxford University Press, 2003.
- Homans G.C.* *Sentiments and Activities: Essays in Social Science*. L.: Routledge and Kegan Paul, 1962.
- Shils E.* *Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1981.

АЛЕКСАНДР САДОВОЙ

Исследования в области социальной антропологии и социологии. Опыт и проблемы взаимодействия

4
6

Поднятая «Антропологическим форумом» проблема определения пограничной области между социальной антропологией и социологией, несомненно, актуальна. В постсоветской России она имеет не столько теоретическую, сколько практическую значимость при получении экспертных оценок эффективности национальной политики, прогноза последствий программ развития субъектов РФ. Наибольшую остроту — в районах, где сохраняются традиционные социальные институты и многоукладный характер экономики. Сотрудничество социологов, экономистов, этнологов, историков, экологов в этой области неоднократно доказывало не только научную, но и экономическую эффективность. В качестве примера можно привести результаты деятельности в 1980–1990-е гг. группы Михаила Черны (Мировой Банк) в области прикладной антропологии [Sernea 1996; Malinowski 1996]. Успешная координация исследований социальных процессов в американской историографии во многом определяется тем, что социальная антропология выступает в качестве базовой учебной дисциплины при специализации как в области этнологии, так и социологии. В результате между этими науками остается только одно принципиальное различие — хронологические рамки исследования. Если для американских социологов (как и прикладных антропологов) особый интерес представляют

Александр Николаевич Садовой
Сочинский научно-исследовательский центр РАН
sadovoy.a.n@gmail.com

текущие социальные процессы, то для этнологов, специализирующихся в области социальной антропологии, границы исследования определяются только содержанием поставленных задач. Они могут охватывать несколько столетий, включая и нынешнее. В связи с этим и инструментарий, характерный для социологических исследований, может использоваться антропологами (этнологами). Единство методологических подходов определяет и отсутствие серьезных терминологических проблем. Многие термины (социальные институты и связи, социальная организация, коммуникационные связи и т.д.) однозначно воспринимаются специалистами обоих направлений, что способствует взаимопониманию используемых индикаторов и показателей.

Отечественный опыт координации исследований и подготовки специалистов в области этнологии и социологии имеет существенные отличия. Особенно отчетливо это прослеживается в российской «глубинке», связи которой с ведущими научными центрами за последние три десятилетия существенно ослабли, а возможности апробации зарубежных методик и технологий благодаря сети Интернет существенно возросли. Здесь взаимопонимание как основа сотрудничества между историками, опирающимися на методологические разработки И.Д. Ковальченко, и социологами — сторонниками современных методологических подходов в зарубежной историографии — ограничено уже на уровне дефиниций. Различия в инструментарии определяют проблемы интерпретации результатов исследований коллег. У социологов он на порядок шире. В этой связи в среде гуманитариев популярно мнение, что если социология — наука с большим числом методик, но сомнительными результатами, то история — наука с ограниченным числом методик, но с заранее заданными результатами, не вызывающими сомнений власть предержащих. Недопонимание определяется и ограниченными возможностями организации дискуссий и рабочих встреч. Порою создается впечатление, что различия между родственными по своей предметной области дисциплинами в российской историографии углубляются. В этом отношении стоит только позавидовать сложившейся в США ситуации, где нет различий между центром и провинцией: ведущие научные школы распределены равномерно по всей территории страны. Нет и такой поляризации специализации в рамках самой социологии.

Высказываемые ниже оценки характера взаимодействия этнологов, специализирующихся в области социальной антропологии, и социологов базируются на личном опыте автора в трех областях:

— организации нескольких этнологических экспертиз, проведенных во взаимодействии с социологами, историками и экологами (1994—1995, 2003—2009 гг.);

— тридцатилетней преподавательской деятельности на историческом и социологическом факультетах одного из провинциальных вузов Сибири;

— работе трех диссертационных советов в области истории, этнологии, социологии.

Первая проблема, с которой сталкивается организатор этнологических экспертиз, связана не столько с определением предметной области, инструментария исследования, адекватного предлагаемому заказчиком объему финансирования, сколько с проблемой кадров. Опыт подсказывает, что значительно легче найти «заказчика» исследования, чем собрать группу, объединяющую этнографов и социологов, способных это исследование провести. Примером может служить ход реализации нескольких исследовательских проектов в рамках Проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского экорегиона». Так, при выполнении проекта по составлению тематического справочника по традиционным знаниям коренного населения [Традиционные знания 2009] выяснилось, что этнографические работы по большей части этого обширного экорегиона за последние десятилетия вообще не проводились. Возможности информационного обмена ограничены, а число специалистов (в области этнической экологии), согласившихся в установленные программой сроки решить эту проблему, не превысило и десяти человек. Не меньше проблем было и с реализацией другого проекта — организацией социологических опросов в национальных анклавах, прилегающих к заповедникам и природным паркам. Опять встала та же проблема отбора квалифицированных специалистов, компетентных в области как социологии, так и прикладной антропологии и этнической экологии. Выход был найден в создании временных научных коллективов, объединяющих специалистов научных центров и вузов нескольких региональных центров Сибири. Наш не слишком длительный опыт работы на Черноморском побережье Кавказа отражает ту же тенденцию. И в этом «пограничном» экорегионе, в течение нескольких столетий вызывающем устойчивый интерес российских этнографов, проявляются те же проблемы с исследованием современных этнических процессов и механизма адаптации традиционных социальных институтов к глобальным процессам. Эта полная парадоксов для многонациональной страны ситуация была бы невозможна, например, на той же Аляске (США), где проблемы регионального этносоциального

мониторинга решаются силами структурных подразделений Университета Аляски и Администрации штата (Department of Fish and Game).

Причин сложившейся в российской провинции ситуации много. Так, они определены отсутствием социального заказа на подготовку специалистов в области национальной политики. Это прослеживается по всем субъектам РФ, в том числе и в Сибири. В штате органов региональной власти нет ни этнографов, ни специалистов в области этнической социологии, работающих на постоянной основе. В исключительных случаях специалисты привлекаются на договорной основе, однако взаимодействуют друг с другом очень редко.

В то же время и этот опыт показывает исключительную эффективность взаимодействия. Особенно в случаях совмещения усилий двух систем — высшей школы и СО РАН. Проиллюстрируем это положение на примере взаимодействия в течение 2000–2010 гг. Кемеровского и Алтайского госуниверситетов с Институтом археологии и этнографии, Институтом философии и права, Институтом угля и углехимии СО РАН. Интерес представляют три составляющие этого взаимодействия: организационные проблемы, проведение полевых исследований, камеральный этап работ и внедрение результатов исследований.

1. Организационные проблемы. Объединение в рамках одного структурного подразделения гуманитариев, на первый взгляд, не представляет проблем. Решение было найдено в создании «совместных» лабораторий (высшая школа — РАН), формировании временных научных коллективов, ориентированных на получение финансирования зарубежных и отечественных фондов. Система взаимодействия в первом случае определялась уставными документами. Во втором — техническими заданиями, календарными и рабочими планами, входящими в структуру договоров. В случаях, когда удавалось выйти на «командный» стиль взаимодействия, происходило разделение функций. Историки ориентировались на анализ делопроизводственных источников (XIX–XXI вв.), отложившихся в ведомственных и государственных архивах, музеях, частных коллекциях. Исследовались процессы, определяющие изменение социальной структуры населения, экономики региона, структуры и функций институтов власти. Этнографы ориентировались на исследование этнического состава (в динамике), традиционных социальных институтов, системы жизнеобеспечения и природопользования, системы «этнических интересов» и выделение очагов перманентных конфликтных ситуаций. Социологи традиционно охватывали своими исследованиями формы проявления общественного сознания, социальные

установки и межкультурные коммуникации, системы межэтнического взаимодействия. Предметная область привлекаемых экологов охватывала ресурсную основу устойчивого развития исследуемых этнических групп, характер антропогенного воздействия на биоразнообразие исследуемого района. Основой сотрудничества был *единый для всех участников процесса* банк данных. С одной стороны, он позволял провести системный анализ социальных процессов. С другой — снимал остроту потенциальных «конфликтов сторон» при публикации материалов и «защите» выдвигаемых рабочих гипотез. В штат лабораторий этносоциального мониторинга (1996–2003) и этносоциальной и этноэкологической геоинформатики (2003–2011) удалось включить историков, этнологов, экологов с разных факультетов Кемеровского госуниверситета. По мере необходимости в штат вводились студенты выпускных курсов и аспиранты. Стоит отметить, что все попытки ввести в штат социологов оказались безуспешными. Во многом это объяснялось а) уровнем финансовых запросов; б) высокой затратностью предлагаемых исследований — тиражирование, организация опросов; в) ограниченным опытом получения грантов; г) позицией заведующих кафедрами, не заинтересованных в изменении «своих» тематических планов.

II. Проведение полевых исследований. Координация полевых исследований этнологов и социологов во многом была обусловлена задачами, поставленными органами исполнительной власти. В данном случае Администрацией Кемеровской области. Объединило специалистов не столько внебюджетное финансирование (оно было незначительным), сколько заинтересованность в обследовании труднодоступных национальных районов, перспектива развертывания внутрирегионального этносоциального мониторинга. Первые шаги к объединению были предприняты в 1994–1995 гг. при реализации программы «Альтернатива». Цель программы — составление прогноза социально-экономических последствий вывода прииска «Алтайский» за территорию только что созданного Шорского национального природного парка (Таштагольский район Кемеровской области). Исследование проводилось тремя группами: экономистов, экологов и этнографов, включившей в свой состав социолога. На основе синтеза результатов исследований трех групп был обоснован прогноз социально-экономических последствий и выработаны рекомендации, принятые органами власти: прииск продолжил свою деятельность¹.

¹ Архив группы этносоциального мониторинга Кузбасской лаборатории археологии и этнографии ИАиЭ СО РАН-КемГУ. Отчет о научно-исследовательской работе «Комплексная программа решения социально-экономических проблем населенных пунктов Шорского национального природного парка», х.д. «Альтернатива» 1994. С. 63, табл. 17.

За годы работы были выработаны принципы, позволяющие снизить риски столкновения «групповых интересов» в коллективах, объединяющих специалистов разных отраслей знания. Вплоть до 2010 г. они являлись основой для реализации ряда научных проектов, результаты которых вошли в коллективные монографии, справочные издания, диссертационные исследования [Шорский национальный парк 2003; Труды Кузбасской комплексной экспедиции 2004; Этнологическая экспертиза 2005; 2008]. Остановимся на них подробнее.

Отказ от традиции «формального лидерства», при котором проекты, выполняемые по заданию органов власти, всегда возглавлялись представителями руководства университетом. Решение организационных вопросов шло через научно-технический совет (НТС) программы. Вопросы согласования финансовых интересов, календарных и рабочих планов, взаимодействия с «заказчиком», определения структуры отчета, делопроизводственное сопровождение проекта были введены в функцию ученого секретаря проекта. Распределение финансов шло по принципу определения «долевого участия» групп в итоговом отчете *до начала работ*, при этом за каждым из руководителей определялось право самостоятельного распределения средств в рамках выделенного финансирования. Эта система оказалась очень гибкой в условиях, когда объемы предлагаемого заказчиком финансирования постоянно менялась, и была ограждена от неизбежных конфликтов финансового плана.

Самостоятельность руководителей полевых отрядов. Выработанная НТС программа полевых исследований создавала условия круглогодичных экспедиционных выездов и деятельности отрядов, объединивших в летний период специалистов разных отраслей знания. Совместная работа социологов и этнологов позволила разработать и апробировать методики этносоциального мониторинга [Пруель, Садовой 1995; Садовой, Пруель 1996; Садовой 1997; Бойко, Шмаков, Нечипоренко 2004]. Суть апробированного подхода заключалась в определении перечня показателей и индикаторов (этнодемографических, социально-экономических и др.), рассчитываемых на основе обработки массовых статистических источников по нескольким выборочным полигонам и хронологическим срезам. Социально-экономические, этнические и экологические процессы рассматривались во взаимодействии. Анкеты и опросные листы разрабатывались в процессе «мозговых штурмов», проводимых в полевых условиях. В проведении опросов, охвативших 25–45 % семей, проживающих на территории полигонов, участвовали все члены экспедиции. Эта форма организации позволила провести социальную стратификацию населения,

выделить этническую составляющую традиционной хозяйственной специализации, провести топологическую привязку промысловых участков, включая «браконьерские», вычленив этнические (групповые) интересы и сферы межэтнического взаимодействия, составить прогноз социальных последствий вывода прииска с территории парка для каждой из этнических групп. Выявленные тенденции оказались сопоставимыми с социальными процессами, выявленными группой экономистов на внутрорегиональном уровне. Полученный материал в дальнейшем послужил основой для компаративного анализа эффективности курса национальной политики на разных этапах российской истории. Особо следует отметить, что выход на уровень определения *репрезентативности* результатов исследований, обычный для социальных и прикладных антропологов США, оказался возможным только благодаря совместной работе социологов и этнологов *в полевых условиях*. Связано это было не только с согласованием методологических подходов, но и освоением методик по смежной специальности. Обучение проходили как сотрудники, так и аспиранты. Апробированные алгоритмы исследований вошли в Регламент этнологических экспертиз на территории Кемеровской области, разработанный в 2008 г. по Государственному контракту с Администрацией области.

Формирование единого банка данных. При выполнении проекта и по его завершении для членов всех трех групп была создана возможность прямого доступа к рабочим материалам. Немаловажным фактором для достижения договоренности было осознание, что результаты полевых исследований могут войти в диссертационные исследования по разным отраслям знаний. Риски нарушения «авторского права» снимались через издательские проекты, в которых приняли участие фактически все члены экспедиционных отрядов.

III. Камеральный этап работ и внедрение результатов исследований. В последующее десятилетие выработанные принципы были в полном объеме реализованы при проведении этнологических экспертиз в среде коренных малочисленных народов Кемеровской области. Исследования проводились лабораторией этносоциальной и этноэкологической геоинформатики (ИУУ СО РАН — КемГУ) совместно с социологами г. Новосибирска (ИФиП СО РАН). Опыт взаимодействия коллективов из разных научных центров выявил еще одну острую проблему. Она связана с определением зоны ответственности за *внедрение результатов исследований*. Выработанные в процессе исследований рекомендации во всех случаях затрагивают групповые интересы. К числу таких рекомендаций можно отнести: выделение участков традиционного природопользования и по-

лучение компенсаций за понесенный ущерб, получение и распределение субвенций на развитие этнического предпринимательства и проведение «культурных программ», определение «доли» представительства национальных меньшинств в органах государственной власти и т.д. Материалы этнологической экспертизы в этом контексте выступают существенным фактором воздействия на систему межэтнических отношений. В связи с этим и определяется отношение к специалистам со стороны представителей региональных органов власти и национальных элит. Уже само обсуждение результатов экспертизы является одним из проявлений региональных этнопотестарных процессов, что, как правило, редко осознается. Определяется это тем, что полученные показатели и индикаторы объективно отражают эффективность социальной политики по отношению к этническим группам, представленным через общественные объединения «лоббистами» на федеральном уровне. Недостаточная аргументированность выводов и прогнозов способна дискредитировать исполнителей экспертиз на долгие годы и отсечь от внебюджетных источников финансирования. Эта проблема существует как в России, так и в США [Клифтон 2000] и не затрагивает только тех «специалистов», которые проводят исследование исключительно из конъюнктурных соображений по заведомо демпинговым расценкам. В связи с этим возникает необходимость организации *процедуры согласования* промежуточных выводов среди заинтересованных сторон в процессе предварительной обработки данных (камеральный этап). Согласно мировой практике, она реализуется на основе круглых столов и рабочих совещаний, к которым привлекаются представители национальных общественных объединений, органов власти (муниципалитетов), бизнес-структур. Как показывает опыт, эти формы деятельности более соответствуют профилю работы этнографов, чем социологов.

Ситуация резко меняется в период проведения многочисленных выборных кампаний. Здесь материалы опросов, отражающие уже не столько латентные социальные процессы и социальные конфликты, сколько отношение к ним населения, приобретают для региональных политиков все большую значимость. Социологи в этих условиях уже *могут* получить заказ на проведение опросов, направленных на нейтрализацию «результатов» этнологических экспертиз и обращений со стороны национальных элит, «не устраивающих» органы власти. Последние, как правило, ориентированы на договорные отношения с организациями, находящимися за пределами «своей» области и не имеющими достоверной информации о «местной кухне». Связано это с тем, что, не зная региональной историографии и не имея доступа к полевым материалам, привлекае-

мые социологи и этнографы опираются, как правило, на результаты опросов. В этом случае многое зависит от формулировки и перечня вопросов, заранее согласованных с заказчиком. Избежать «противостояния» между «привлекаемыми» и «местными» профессионалами можно только на основе соблюдения научной этики. Достичь этого в условиях российской провинции сложно, что связано со сложившейся системой подготовки специалистов.

На наш взгляд, вся система высшего образования и аспирантуры по специальности «история» (в рамках которой ведется подготовка этнографов) или «социология» в регионах не ориентирована на подготовку специалистов в сфере национальной политики. В учебных планах нет дисциплин, содержащих разделы по методикам исследования современных этнических процессов, этнических аспектов традиционной социальной организации, специализации, предпринимательства, преступности. Более того, для подготовки и историков, и социологов характерно игнорирование общепризнанной в мировой историографии *этнической составляющей* современных глобальных и региональных процессов. Причины этой тенденции не вполне ясны. Возможно, ситуация определяется стремлением руководства среднего звена (кафедр, факультетов) минимизировать возможность вмешательства силовых структур в учебный процесс, особенно в части организации учебных практик в национальных районах. Эпизодические обвинения СМИ в «национализме» не только представителей национальных элит, но и исследователей этого явления, историческая память о репрессиях, низкий уровень квалификации чиновников, отвечающих за проведение национальной политики, являются серьезными факторами для негативного отношения к «национальной проблематике».

Выход прослеживается в привлечении специалистов из системы РАН, переподготовке преподавательского состава в ведущих мировых и отечественных центрах. Однако и здесь существуют проблемы. Проводимая реформа высшей школы серьезно ограничила мобильность преподавательского состава. Перманентный рост «учебной нагрузки» при ограничении сроков договоров, заключаемых руководством вузов с преподавателями, привел к тому, что штатный состав кафедр общественных наук в сибирских вузах резко изменился. В их составе в отличие от 1980-х гг. повсеместно доминируют выпускники «своих» выпускающих кафедр. У кафедр нет средств для привлечения специалистов в области этнологии, этнической истории, этнической социологии. Как результат, повсеместно по сибирскому региону нарушается один из основных принципов Болонского процесса — «мобильность» преподавательского

состава, позволяющая организовать обмен специалистами, имеющими опыт полевой работы в национальных районах. Относительно стабильна ситуация только в тех вузах, где сформировались исследовательские «школы», имеющие устойчивые контакты с системой РАН и опыт реализации проектов при финансировании международных и отечественных фондов. В качестве примера можно привести Томский и Омский государственные университеты. Однако и здесь число специалистов, ориентированных на исследование современных этнических процессов — смежной области для этнографов и социологов, — явно недостаточно даже для «своих» областей. Организация учебного процесса не создает условий отработки навыков самостоятельной исследовательской работы в полевых условиях (в национальных районах), работы с респондентами, организации доступа и обработки ведомственных архивов сельских администраций. В качестве примера можно привести широко распространенную практику, при которой курсы по методологии и методам исторических исследований, современным компьютерным технологиям, демографии, региональной истории распределяются среди преподавателей, не владеющих современными методиками и не имеющих опыта работы со специалистами смежных дисциплин. Курсы по социальной антропологии, прикладной антропологии и этнической социологии на исторических факультетах не читаются. Зарубежные исследования, методология, современные методы исследования в сфере социальной и прикладной антропологии и социологии остаются невостребованными. Незнание методик существенно ограничивает возможности определения репрезентативности выявленной информации. В связи с этим для многих провинциальных историков характерны исключительная «доверчивость» к архивным данным, стремление уйти от дискуссионных вопросов, серьезные проблемы с формулировками «использованных» методик. Это отчетливо прослеживается по тексту авторефератов диссертаций: поставленные цели и задачи далеко не всегда соответствуют заявленным методикам и итоговым выводам. К сожалению, уровень компетентности выпускников исторических факультетов сужает возможности их привлечения к проведению этнологических экспертиз, репрезентативность результатов которых во многом обусловлена взаимодействием со специалистами смежных дисциплин. Как показал опыт, выйти из этой ситуации возможно только при ранней специализации и включении студентов в состав лабораторий, на основе которых и проходит переподготовка.

При организации подготовки социологов значительно большее внимание уделено современным зарубежным теориям

социогенеза и методикам. В учебный план включены курсы по основам этнографии, социальной антропологии, этнической социологии, демографии, социологии семьи и детства, социальной экологии и экологической социологии. Значительное место занимают учебные практики, результаты которых определяются научной проблематикой преподавателей. На первый взгляд, организация учебного процесса является неплохой основой для подготовки как социальных антропологов, так и потенциальных экспертов в области современных этнических процессов. Однако это далеко не так. Отсутствие базовой исторической подготовки приводит к тому, что у выпускников отсутствуют навыки «критики» информации, получаемой от респондентов старшего возраста, и делопроизводственной документации прошедшего столетия. Незнание истории провоцирует обращение к разработкам политологов и краеведов, исключительную доверчивость к информации, исходящей от национальных лидеров. Незнание региональной этнографии и историографии по истории национальной политики, стремление опираться на зарубежные методики и разработки делают социологов уязвимыми в сфере межэтнических взаимоотношений. И здесь привлечение выпускников к проведению полевых исследований требует их серьезной переподготовки.

На наш взгляд, чтобы достичь ситуации, когда бы «слабости одной науки компенсировались достоинствами другой в совместных исследованиях», необходимо обратиться к опыту исследования традиционных социальных институтов в начале XX столетия. В силу того что социальные процессы, обусловленные реформами последних десятилетий, имеют для федеральных органов власти и научных кругов *латентный характер*, необходимо приступить к их комплексному исследованию, используя опыт организации «совместных» долговременных экспедиций, с привлечением ведущих отечественных и зарубежных специалистов. Для подготовки специалистов следует развернуть межфакультетские кафедры социальной антропологии со специализациями в сфере этнологии, этнической социологии, культурной и прикладной антропологии. Инициатором этого процесса может выступить только система РАН.

Библиография

- Бойко В.И., Шмаков В.С., Нечипоренко О.В. и др. Этносоциальный мониторинг коренных малочисленных народов Сибири // Труды Кузбасской комплексной экспедиции. Кемерово: ИУУ СО РАН, 2004. С. 76–93.

- Клифтон Дж.* Лебедь, несущий серебряные шиллинги в клюве // Традиционные системы жизнеобеспечения и региональная национальная политика. Новосибирск: ИАиЭт СО РАН, 2000. Вып. 1. С. 129–150.
- Традиционные знания коренных народов Алтае-Саянского экорегиона в области природопользования: информационно-методический справочник. Барнаул: Азбука, 2009 (с приложением расширенной версии на CD-ROM).
- Пруель Н.А., Садовой А.Н.* Этносоциальный мониторинг: постановка проблемы // Культурные традиции народов Сибири и Америки: преемственность и экология (горизонты комплексного изучения). Материалы международного симпозиума. Чита: Облисполком Читинской области, 1995. С. 145–147.
- Садовой А.Н.* Организация этносоциального мониторинга (академическая наука и представительная власть) // Новейшие археологические и этнографические открытия в Сибири. Материалы IV Годовой итоговой сессии Института археологии и этнографии СО РАН. Новосибирск: ИАиЭ, 1997. С. 219–223.
- Садовой А.Н., Пруель Н.А.* Этносоциальный мониторинг: принципы, методы, практика. Кемерово: Кузбассвуиздат, 1996.
- Труды Кузбасской комплексной экспедиции. Беловский, Яшкинский, Таштагольский районы Кемеровской области. Кемерово: ИУУ СО РАН, 2004. Т. 1.
- Шорский национальный парк: природа, люди, перспективы. Кемерово: ИУУ СО РАН, 2003.
- Этнологическая экспертиза. Оценка воздействия ООО «МетАЛ» (ОАО ММК — Магнитогорский металлургический комбинат) и УК «Южный Кузбасс» (стальная группа «Мечел») на системы жизнеобеспечения автохтонного и русского населения Чувашинской сельской администрации М.О. «Город Мыски». Кемерово: ИУУ СО РАН, 2005. Вып. 1.
- Этнологическая экспертиза. Этнополитические, социально-экономические и этнодемографические процессы в среде телеутов Беловского и Гурьевского района Кемеровской области. Новосибирск: Параллель, 2008. Вып. 2.
- Cernea M.* The Social Organization and Development Anthropology. 1995 Malinowski Award Lecture // Environmentally Sustainable Development Studies and Monographs Series. No 6. The World Bank. Washington, D.C.: The World Bank, 1996.

МИХАИЛ СОКОЛОВ

Стоит ли радоваться сближению социологии и антропологии? О проблеме легитимности в малосостоятельных дисциплинах**1**

Если совсем коротко, я бы ответил, что антропологам просто повезло больше по сравнению с социологами. В сравнительной политологии есть понятие *failed state* («несостоятельные государства») — правительство, которое не может утвердить монополию на насилие на собственной территории. По аналогии с ним мы можем говорить о *failed discipline* и о том, что все дисциплины располагаются где-то между полюсами успешных и потерпевших полный крах. Успешные наслаждаются престижем и стабильным спросом на производимые ими знания со стороны студентов, государственных ведомств, бизнеса и широкой аудитории. Более того, их представители всегда могут ответить сами себе на вопрос: «Нужно ли кому-то то, на что я потратил(а) свою жизнь?» И престиж, и спрос, и ощущение осмысленности непосредственно вытекают из того факта, что они обладают юрисдикцией над какой-то частью ментальной карты мира, существующей в умах представителей данной культуры. Только они могут выносить легитимное суждение о проблемах, относящихся к этой области. Пользуясь выражением Пола Стара [Starr 1982: 13–17], можно сказать, что они добились делегирования им культурного господства над ней. Их монополия может быть защищена законом, но, собственно, большинству людей и в голову не придет пытаться этот закон преступить. Деньги на разработку вакцины против СПИДа получают биологи и медики. Это никого не удивляет, поскольку все мы знаем, что вирусы — это епархия микробиологии. Большинство современных людей и не задумываются, что при проблемах с вирусными заболеваниями вообще можно обратиться к кому-то еще.

Все не так для несостоятельных дисциплин. Их права на территорию постоянно оказываются под вопросом. Успешные дисциплины, как успешные государства, могут быть большими или маленькими в зависимости от того, насколько большими считаются вопросы и насколько важными видятся проблемы, с которыми они имеют дело. Их территория может сжиматься или увеличиваться со временем. Онкология быстро росла по мере того, как рак превращался в одну из основных причин смерти в современных обществах, а спрос на классическую филологию, наоборот, едва ли не сократился после того, как латынь и греческий выпали из школьных программ. Неуспешные дисциплины, однако, не бывают, строго говоря, ни большими, ни маленькими, поскольку никто не может определить точно, где проходят их границы. Они не обладают контролем над своей культурной территорией. Захватчики постоянно вторгаются на нее — и уходят безнаказанно.

Из социологии и антропологии, социология всегда стояла гораздо ближе к полному краху.

Есть несколько причин, которые делают дисциплину более или менее успешной; легче всего описать их, используя экономическую терминологию. Существует спрос на знания¹. Эти знания бывают разного рода: как выплавлять руду, когда будет Пасха, как спрягаются латинские глаголы, какова правоприменительная практика. Появится ли группа, успешно монополизирующая производство и распространение этих знаний, зависит от нескольких обстоятельств. Во-первых, их самостоятельное кустарное производство должно стоить достаточно дорого, в деньгах или во времени, иначе никто не согласится платить профессиональному поставщику. Исследования должны быть дорогими сами по себе или требовать длительной специфической подготовки. Во-вторых, они должны быть передаваемыми по институциональным каналам, которые ассоциируются с наукой — через лекции, учебники, семинары и практические занятия. Стратегиями ухаживания каждый из нас вынужден овладевать в подростковом возрасте на свой страх и риск, поскольку учебники тут приносят мало пользы; еще более недвусмысленным случаем личностного знания являются поиски себя².

¹ Я не готов здесь предложить какое-то новое решение для векового спора о том, что такое «знания». Для простоты будем считать, что это любого рода ценности, которые передаются от одного владельца к следующему с помощью слов или наглядных демонстраций, т.е. впитываются глазами и ушами, а не принимаются руками, причем передача является действенной вне зависимости от того, знают ли или узнают ли о ней третьи лица (в отличие от передачи прав).

² Единственные формы преподавания в этих областях — высоко персонализированное наставничество, какое практикуют духовники, психотерапевты и пикаперы. Острая потребность в их услугах обеспечивается их клиентами, даже несмотря на то что многие, если не большинство, потребителей остаются в итоге неудовлетворенными.

Соответствующие значения этих двух переменных дают нам вероятность появления факультетов. Мой тезис состоит в том, что антропология (в своей классической форме изучения примитивных народов) по обоим этим параметрам занимает более благополучное положение, чем социология. Легитимность этнографического исследования кажется очевидной: ясно, почему человек, который прожил сколько-то в другом обществе, освоил его язык и даже научился в какой-то мере сходить там за своего, может претендовать на более полное знание о нем, чем тот, кто всего этого не сделал. Понятно, что не каждый может отправиться в экспедицию к экзотическому племени, поэтому кустарное производство таких знаний исключено. Немного сложнее с трансляцией приобретенного понимания через формальные академические каналы, но и тут есть консенсус по поводу того, что они могут служить для передачи релевантных сведений. Наконец, потребности колониального управления, превратившиеся постепенно в потребности кооперации в глобальном мире, снимают возможные сомнения в важности дисциплины и вместе с романтикой дальних стран и магнетизмом первобытности генерируют постоянный приток студентов и интерес аудитории.

Ситуация социологии всегда была проблематичнее. Прежде всего, она парадоксальным образом пала жертвой важности собственной области. Делегирование авторитета подразумевает возможность запретить посторонним разбираться в происходящем. Отказ от опоры на собственное разумение в пользу антропологов произошел сравнительно легко. Во-первых, большая информированность тех, кто занимался этнографией, была несомненной. Во-вторых, традиционный предмет их изучения — обычаи и верования экзотических народов — в общем-то не был прямо связан с самыми горячими политическими дебатами современных обществ последнего столетия. У масс обывателей не было ни оснований подозревать антропологов в тенденциозности, ни возможности сформировать собственное мнение. Доверие легко рождается в таких обстоятельствах. Положение социологов было сложнее. У каждого есть собственный опыт общественной жизни, у многих он значительно богаче, чем у профессиональных социологов¹. Кроме

¹ Одна знакомая автора, которая начинала с бурного энтузиазма по поводу изучения разных субкультур, через некоторое время совершенно забросила свои научные занятия. На вопрос о том, с чем связана эта потеря интереса, она ответила примерно следующим образом: «Я поняла, что удовлетворить свое человеческое любопытство гораздо проще без всякой социологии. Меня интересовали чеченские коммерсанты — и я с одним из них уже год живу. Как ты думаешь, смогла бы я так узнать эту среду изнутри, если бы взяла десять интервью?». На это было трудно что-то возразить. Сохранение позиции в науке требует таких больших временных затрат на разные вспомогательные виды деятельности — преподавание, административную деятельность, коммуникацию с коллегами, что большинство социологов имеют весьма шапочное знакомство со всем остальным

того, у очень многих людей уже есть собственные ответы на многие вопросы, которые задают социологи, очень часто от этих ответов им решительно не хочется отказываться. В конце концов, социологические объяснения — профессиональные и нет — это материя, из которой соткано общество. Они присутствуют постоянно в нашей жизни как инструкция по сборке взаимодействия, инструмент стабилизации отношений или орудие их изменения. Требуя предоставить им полную монополию в этой области, социологи просили слишком многого. Установить полный контроль над территорией было невозможно.

Претензии социологов на контроль над какими-то отдельными аспектами экспертизы строились на использовании трех приемов, которые несколько неуклюже можно было бы назвать «движением к», «движением от» и «движением в сторону» или этнографической, картографической и иронической моделями. Этнографическая модель аналогична аргументации антропологов и имела несомненную убедительность в эпоху, когда большинство жителей Восточного Лондона никогда в жизни не были в Западном, и наоборот. Тем, кто брался одолеть физическую дистанцию в милю и скрываемую ею бездонную социальную пропасть, было что рассказать после возвращения домой¹. К несчастью, здесь у социологов имелись конкуренты в лице журналистов, которые совершали те же экспедиции и возвращались с теми же трофеями за гораздо меньшие деньги. За ту же зарплату, за которую ученый-социолог пишет шесть статей в год, журналист пишет шесть в месяц. Чикагская школа социологии устами Роберта Парка отождествляла социологов с «журналистами, но только надежнее», имея в виду, что они работают тщательнее и копают глубже. Однако по мере того, как на академических социологов ложилось все больше регулярных обязательств в университете, их преимущество в этой области становилось все призрачнее. Хуже того, стремительное распространение блогов и веб-журналистики еще сильнее усложнило положение дел: теперь кто угодно может позволить себе заглянуть в чужой социальный мир, не нуждаясь в посредниках.

Здесь социологам приходил на помощь другой прием, который я назвал выше «движением в сторону». Они претендовали на

миром, общаясь в основном с себе подобными. Как наглядное следствие этого, социологи, возможно, одна из наиболее эндогамных профессий. Поддержание образа жизни нашей статусной группы, в общем-то, малосовместимо с развитым любопытством в отношении других групп.

¹ Я не знаю, кто первым использовал контраст между обманчивой близостью физической дистанции и социальной непреодолимостью как способ объяснить, в чем состоит задача городского этнографа. Правдоподобный кандидат — Джек Лондон (см. вводные страницы к «Людям бездны»).

то, что не просто узнали больше фактов о какой-то группе, среде или институте за счет того, что побывали внутри, но и способны понять в этих фактах больше, поскольку стоят на плечах гигантов, составляющих социологическую традицию. Традиция, которая отождествлялась с теорией, была важна еще и потому, что позволяла социологам чувствовать себя «настоящей наукой» на фоне физиков или хотя бы биологов. Вписывание себя в традицию давало повод считать собственные размышления плодом кумулятивного роста знания¹. Предположительно традиция является «ресурсом социологического воображения», позволяющим социологам смотреть на реальность «из другой перспективы» или «оптики». Среди социологов нет общего согласия по поводу того, как эта оптика соотносится с взглядом «человека с улицы». Фундаменталисты старой закалки полагали, что она в некотором объективном смысле лучше. Более умеренное современное поколение ограничивается тем, что говорит о свежести взгляда и терапевтическом эффекте остранения.

Дает ли социологическая традиция какие-то преимущества в написании книг, позволяющих взглянуть на социальный мир другими глазами, остается спорным. Несомненно, что некоторые из составляющих эту традицию авторов были талантливыми писателями; непонятно только, стали ли они талантливыми писателями хоть в какой-то мере благодаря тому, что учились социологии, или вопреки этому. Попытки поставить производство стилизованной под них прозы на промышленную основу заканчивалось тем, чем заканчиваются все такие попытки: появлением массы унылой вторичной литературы. Более того, усилия, направленные на то, чтобы освятить свою работу следованием манере классиков («в своей работе я анализирую... неравенство из перспективы...»), обычно оборачивались нарративной катастрофой. Они принуждают авторов начинать и завершать каждый текст исчислением своего (фиктивного) интеллектуального родства с отцами-основателями, крайне изнурительным для непосвященного читателя. Даже если самим социологам это возвращало смысл их академической жизни (они ощущали себя частью кумулятивной социальной науки), всех остальных оно отпугивало, создавая дополнительные disadvantages в конкуренции с журналистами. Характерно, что дисциплины, которым не приходилось обосновывать ценность производимых ими фактов, в целом значительно меньше были поглощены ритуальной работой и, соответственно, произво-

¹ В значительной степени это ощущение производилось переписыванием истории науки, при котором из работ предшественников вычеркивалось то, что данное поколение хотело бы считать собственным вкладом.

дили в среднем значительно более совершенные в литературном отношении и вообще интересные для аутсайдеров тексты¹. Книги антропологов или историков выходят тиражами, которые социологам и не снились. Разумеется, у антропологов и историков имеются свои версии традиции; я бы сказал только, что, до недавнего времени, по крайней мере, они не так сильно довлели над ними, поскольку им не приходилось определять смысл своего существования через «движение в сторону»².

Наконец, есть «движение от», воплощенное в статистическом анализе и широких исторических генерализациях. Социологи претендуют на то, что они видят всю картину, которую обыватели не могут рассмотреть именно потому, что слишком погружены в детали собственного социального мира. В этой области, прежде всего получении и анализе данных опросов, а также иной статистики, монополия социологов до нынешнего времени не ставилась под сомнение³. Большинство «людей с улицы» в России и во многих других странах видят в социологах прежде всего тех, кто на этой самой улице пристает к ним с анкетами. Интересным образом, большинство социологов не готовы были по доброй воле построить свою идентичность вокруг метода и обращались к этому способу обоснования своей правомочности лишь в самых критических обстоятельствах⁴. Тем не менее именно тут — в области применения всевозможной социальной статистики — располагались те объекты, на изучение которых социологи имели несомненную монополию, например социальная структура. Аналогом этого движения

¹ Это, разумеется, взгляд с высоты птичьего полета. Многие социологи писали книги, которые не были исковерканы фальшивой наукообразностью. Пример, который сейчас мне приходит в голову, — «Быть напечатанным» Уолтера Пауэлла [Powell 1985]. Закрыв ее, читатель остается с ощущением, что знает, как работает академический издательский бизнес в США. То, что было черным ящиком, становится прозрачным, понятным и отчасти предсказуемым механизмом. Единственный вопрос в связи с этим состоит в том, была бы книга хуже, если бы Пауэлл не являлся по совместительству классиком институциональной теории организаций и никогда в жизни не открывал бы, скажем, Вебера?

² Этому утверждению можно придать операциональную форму, подсчитав количество строчек во вводной части статей, которые потрачены на убеждение читателя, что данная проблема и подход являются легитимными для социологов — без всякой связи с субстантивным материалом, изложенным далее (см.: [Hargens 2000]).

³ Доступность электронных баз данных, а также распространение персональных компьютеров и навыков работы на них начинают ставить монополию социальных ученых под некоторое сомнение. В текущей дискуссии по поводу российских выборов, например, все решающие аргументы были сформулированы не политологами, а технарями, такими как Сергей Шпилькин. Внимательно проследив за ходом дебатов, мы можем обнаружить, что политологи (и присоединившиеся к ним экономисты) содержательно не добавили к ним ничего, до чего технари не додумались бы без них. Это пример не совсем из области социологии, но есть подозрение, что и там вскоре может произойти что-то похожее.

⁴ Например, советские социологи, вынужденные постоянно оборонять зону своей компетенции от поползновений исторических материалистов, устами Юрия Левады определили социологию как «дисциплин[у], которая ставит во главу угла экспериментальное, количественное, статистическое изучение общественной жизни» [Левада 2011: 12].

у антропологов была сравнительная антропология (отчасти количественная), которая, однако, никогда не была столько же центральным для дисциплины предприятием. Антропология, возможно, и не нуждалась в «движении от», поскольку ее «движение к» вполне оправдывало ее существование.

2

До какого-то момента, безусловно, делал объект: социологи работали там, куда можно было доехать на поезде и где можно было остановиться в приличной гостинице, а антропологи — там, где нельзя. Затем это чисто логистическое деление потеряло свою отчетливость. Отчасти это произошло потому, что идея противопоставления «примитивного» и «современного» общества вышла из моды. Отчасти виновато было перепроизводство студентов-антропологов, которым не хватало денег на экспедиции и волей-неволей приходилось изучать кого-то под рукой. Отчасти — потребность социологов подчеркнуть свое отличие от «просто журналистов», отождествив свою полевую работу с исследовательской практикой выше стоящей дисциплины — так родилась «городская этнография».

Теоретические традиции, которыми обе дисциплины обзавелись (я писал выше, что obsессия антропологов в отношении их традиции кажется мне слабее obsессии социологов, тем не менее никто не будет ставить под сомнение ее существование), также разъединяли их, хотя я не сказал бы, что существующие различия здесь глубже, чем различия между разными кланами социологов. Скорее роль играло то, как они обращались с этими традициями: социологи иногда трактовали больший интерес антропологов к тому, что они непосредственно видят, чем к тому, на чьи плечи они вскарабкались, чтобы это увидеть, как признак интеллектуальной слабости. Излишне говорить о том, что, как мне кажется, все обстоит наоборот.

3

К несчастью, область, в которой социология и антропология встретились, — изучение сред, или субкультур, или «малых» институтов и жанров современных обществ — дальше всего отстоит от «жесткого ядра» каждой из них. И те и другие сталкиваются тут с конкуренцией журналистов, литераторов и блогеров. И те и другие в общем проигрывают в этой конкуренции. Если бы у академических дисциплин были советы директоров, а я давал рекомендации им, я бы посоветовал каждой из наук сконцентрировать силы на удержании своего heartland'a. Для социологов это означает количественное изучение обществ, по которым доступна разнообразная статистика. Основной задачей следующего десятилетия — сказал бы я — для них должно быть освоение последствий компьютерной революции, например интеграция многоагентного моделирования в стратегии количественного анализа. Положение антропологов в этом

отношении сложнее. Этнография бесписьменных, бесстатистических и безынтернетных обществ остается их территорией, но постепенно эта территория сжимается. Возможно, новым поколениям студентов надо готовиться скорее к историческому их изучению с использованием новых возможностей компьютерной техники и генетики, возможно, к роли журналов-международников, «только надежнее».

4

Я заканчивал отделение социальной антропологии, хотя и на социологическом факультете (СПбГУ). Некоторые его выпускники стали настоящими антропологами (в смысле исследуют там, где нельзя остановиться в приличной гостинице), а те, кто стал социологами (т.е. исследуют там, где можно), также в большинстве своем гордо заявляют, что практикуют «городскую этнографию». В этой среде никакого различия не прослеживается. Если брать более традиционную (пост)советскую этнографию (выпускники истфака СПбГУ), то различие, разумеется, существует. Этнографы больше ценят материал и меньше — свидетельства принадлежности к какой-то традиции, больше значения придают «движению к» и меньше — «движению в сторону». Как я уже говорил, это кажется мне скорее достоинством, чем недостатком.

Если говорить о характере теорий, составляющих социологическую или антропологическую традицию, то здесь, вероятно, есть систематическая разница, хотя и не такая значительная, как можно было бы ожидать. В обеих в первой половине XX в. процветал функционализм, обе подверглись влиянию психоанализа. Мне кажется, что в общем и целом во второй половине XX столетия антропологи сильнее тяготели к подходам, вдохновленным лингвистикой (структурализм, когнитивная антропология) и естественными науками (экология) — возможно, как результат того, что этнографам волей-неволей приходится учить другие языки и они не могут не ощутить на самих себе воздействие климата на человеческую жизнь. До социологии эти влияния доходили косвенно и во многом через антропологию. Влияние структурализма на современную социологию, например, в основном ощущается благодаря Мэри Дуглас (Пол ДиМаджио, Эндрю Эбботт) и перешедшему в социологический лагерь Бурдьё¹.

¹ Мне было сложно найти примеры обратного заимствования. Кажется, что антропологи охотнее экспериментировали с интеллектуальной контрабандой из других наук и раньше усваивали их достижения, чем социологи, даже в области математических методов, которые я выше упомянул как часть традиционного домена социологии, антропологи часто выступали новаторами. Фредерик Барт разглядел достоинства математической теории игр уже около 1950 г., Клайд Митчелл примерно тогда же приспособил аппарат теории графов для анализа социальных сетей. Отчасти различия между дисциплинами могут отражать разницу в классовом происхождении студентов-социологов и антропологов, особенно ощутимом в Великобритании. Летописец британской

5

Из сказанного выше следует, что антропологам, возможно, и вовсе не следует заниматься темами, близкими к тому, чем занимаюсь я, — социологией науки. Это не значит, что человек с дипломом антрополога не может написать удачную работу по этнографии лаборатории, но, мне кажется, что это будет сделано скорее вопреки образованию, чем благодаря ему (в «Лабораторной жизни» Латура и Вулгара нет никаких следов антропологического образования первого). К чему приводит доминирование дисциплинарной традиции, видно на примере этнографов советской школы. Господство структурализма в ней определило важность фольклора как предмета изучения¹. Соответственно, когда отечественный этнограф обращается к науке, он(а) прежде всего пытается обнаружить морфологию академической байки в какой-то из ее версий. Я знаю с десяток таких текстов, выполненных с разной долей серьезности. Обычно исследование останавливается на том, что в аспирантском фольклоре научный руководитель играет роль трикстера. Хочется, чтобы мысль развивалась дальше в каком-то направлении. Впрочем, социологические работы, изучающие «представление себя другим в академическом мире», ничем не лучше. Это два примера вдохновленных теоретическим образцом индустрий текстов, которые имеет какой-то смысл читать, только если сам предмет незнаком — тогда они с грехом пополам оправдывают свое существование как средство организации текста. Если, однако, предмет знаком, то сложно извлечь из них что-то полезное.

6

На этот вопрос мне сложно ответить, так как я не уверен, что им вообще надо встречаться. Деление по гостиничному признаку кажется мне вполне удовлетворительным. Но если исходить из того, что встреча неизбежна, причем в том самом неблагоприятном районе «городской этнографии», то им стоит быть готовым к тому, что они ничем не смогут обогатить друг друга. Методы, которыми они пользуются, в этих условиях практически неотличимы. Попытки синтезировать теории,

социологии Адриан Хэлсей цитирует такой эпизод из биографии американского социолога Джорджа Хоманса, происходившего из аристократической новоанглийской семьи, писавшего стихи и начинавшего как историк английского средневековья. Когда тот оказался на стажировке в Кембридже в 1950-х, его много раз спрашивали, как он мог оставить историю ради социологии. В конце концов Хоманс не вытерпел и спросил: «Да что же не так с социологией?» Его собеседник замялся, но наконец выдал из себя: «Ну понимаешь... она же не для людей нашего круга...» [Halsey 1982]. В самом Кембридже, как и в Оксфорде, социология появилась только в поздних 1970-х. До сих пор в национальных британских рейтингах по социологии лидируют неаристократические Манчестер, Эссекс, Йорк и Ланкастер. Студенты из высших классов, однако, как правило, обладают более широким научным и культурным кругозором, необходимым для дисциплинарного брокерства. История из жизни Хоманса рассказана автору Марией Сафоновой (НИУ-ВШЭ).

¹ Все это, как, безусловно, понял читатель — сплошь мои малоинформированные домыслы. Все могло быть наоборот — вера в важность фольклора для традиционного сознания обусловила успех структурализма. Так или иначе, привычный предмет и инструмент образуют сейчас единство.

которым привержены разные исследователи, в ходе коллективного проекта никогда ни к чему хорошему не приводят. Мне сложно представить, как кто-то из них выигрывает что-то специальное за счет этого сотрудничества. Возможно, ситуация будет иной, если они совместно решат заняться глобальными сравнениями культур, при котором каждый из них будет специалистом по какому-то типу обществ (пример — сотрудничество Мэри Дуглас с Аароном Вилдавским в разработке культурной теории риска). Совместное «движение от» более перспективно, чем совместное «движение к» или «движение в сторону». Но учитывая процент неудач в этой области, я не уверен, что советовал бы кому-то из своих аспирантов серьезно рассматривать это направление интеллектуальной карьеры.

Библиография

- Левада Ю.* Лекции по социологии. М.: Е.В. Карпов, 2011. <<http://www.levada.ru/books/yurii-levada-lektsii-po-sotsiologii>>. (Последнее посещение 14.01.2012.)
- Hargens L.* Using the Literature; Reference Networks, Reference Contexts, and the Social Structure of Scholarship // *American Sociological Review*. 2000. Vol. 65. No. 6. P. 846–865.
- Halsey A.* Provincials and Professionals: the British Post-War Sociologists // *European Journal of Sociology*. 1982. Vol. 23. No. 1. P. 150–175.
- Powell W.* Getting into Print: The Decision-Making Process in Scholarly Publishing. Chicago; L.: The University of Chicago Press, 1985.
- Starr P.* The Social Transformation of American Medicine. N.Y.: Basic Books, 1982.

СЕРГЕЙ СОКОЛОВСКИЙ

Социология vs. антропология: запоздалые заметки на полях к дискуссии «физики vs. лирики»

Для того чтобы обнаружить отличия антропологии от социологии сегодня (очевидно, что исторические конфигурации социального и гуманитарного знания, как и соотношение социологии и антропологии в рамках различных национальных традиций и школ, могли существенно отличаться), сравнение идеально-типических или классических воплощений этих двух видов знания (одно

Сергей Валерьевич Соколовский
Институт этнологии
и антропологии РАН,
Москва
SokolovskiSerg@mail.ru

специализируется на «простых» дописьменных «примитивных» культурах периферии, другое — на сложных индустриальных, урбанизированных и западных обществах метрополий, одно — на количественных методах, другое — на включенном длительном наблюдении¹) представляется уже недостаточным, хотя соблазн простых ответов остается, поскольку именно они обычно отражают дух времени и место дисциплины в рамках национальных исследовательских традиций². Еще один лишь по видимости простой ответ: социология изучает Общество, а антропология — общества, или социология изучает общество, а антропология — культуру(ы). Он заставляет искать отличия между этими дисциплинами в сравнении таких глобальных и сегодня уже донельзя размытых понятий, как общество и культура. Но ответы на вопрос, что такое Общество в противопоставлении обществам или Культуре / культурам, окажутся разными не только у социологов и антропологов, но и в различных субдисциплинах, школах и исследовательских областях внутри этих больших дисциплинарных сообществ, и обнаружить различия между социологией и антропологией на этом пути будет сложнее, чем при прямом сопоставлении дисциплин.

Самостоятельность антропологии, а следовательно, и ее автономия в отношении социологии и ее методов сегодня, на мой взгляд, в значительной степени зависят от того, претендует ли она (ее адепты) на статус социальной науки и, стало быть, на номологический характер своих обобщений, или ее вполне удовлетворяет положение гуманитарной дисциплины, ограничивающейся наблюдениями за уникальным, партикулярным, индивидуальным и случайным. При всем многообразии современной социологии и увлеченности некоторых социологов качественными методами исследования, претензия на научность в смысле поиска закономерностей, как мне кажется, остается важным демаркационным отличием знания в социальных науках от знания гуманитарного. Социологи претендуют на открытие, формулирование или описание социальных законов

¹ Последнее противопоставление релятивизируется не столько распространением среди социологов качественных методов, сколько давним использованием антропологами методов количественных, которым посвящено значительное число монографий и сборников, а также издававшийся с 1989 по 1996 г. специальный журнал "Journal of Quantitative Anthropology" <<http://www.quantitativeanthropology.org>>.

² Например, антропологию еще сравнительно недавно называли «социологией небелых людей» — "non-white people sociology" — определение, в котором подчеркивался не только тот факт, что социологи по преимуществу изучали индустриальные общества в странах первого мира, а антропологи — так называемые «племенные общества» третьего мира, но и то менее приметное обстоятельство, что противопоставление методов, преимущественно используемых в этих дисциплинах, не было столь уж важным для профессиональной идентификации. В то же время социологию иногда определяли как «антропологию собственного общества».

и закономерностей, тогда как антропологи в лучшем случае описывают явные и скрытые правила, которым подчиняются отдельные индивиды и коллективы (адепты семиотического подхода в таких случаях любят писать о «кодах»), или «вводят в научный оборот новые факты». Этими фактографическим и феноменологическим уровнями антропологи обычно и ограничиваются. Есть, однако, и среди них (как, впрочем, и среди историков) страстные поклонники количественной точности, убежденные, что «величие степенно отступило в логарифмы» и что их дисциплина должна стать именно наукой, а не просто особым жанром литературы или специфической манерой письма. Работы таких антропологов отличить от социологических становится действительно сложно, но все же возможно: позитивистские пристрастия с неизбежностью толкают их к большим нарративам и грандиозным теоретическим конструкциям и, в частности, к разным версиям эволюционизма и стадийного развития — увлечениям, ставшим сравнительно редкими среди ныне действующих социологов.

Значительно более отчетливая в социологии по сравнению с антропологией установка на изучение / открытие закономерностей проявляется и в формах обучения студентов, кругах чтения, предпочитаемых методах исследования, составе «ареопага» классиков, междисциплинарном партнерстве (антропологи охотнее социологов сотрудничают с археологами и лингвистами, зато лингвисты продуктивно сотрудничают и с теми и с другими, примерами чего могут служить фольклористика и социолингвистика), спектре используемых жанров при текстуализации исследовательского опыта¹, особенностях институализации дисциплин в университетах и исследовательских центрах, целевых аудиториях (кто и в каких целях использует производимое в этих обширных исследовательских областях знание). Собственно говоря, именно эта установка делает социолога не антропологом (а ее отсутствие у антрополога не позволяет ему стать полноценным социологом) практически во всем, чем он профессионально занимается. Поиск закономерностей опирается на измерение, моделирование и редукцию, антропологи же всегда стремились к получению холистских описаний культур и обществ. Эти описания с неизбежностью

¹ Здесь же можно отметить и различия в жаргоне: там, где социолог предпочитает писать «кейстади», антрополог по старинке пользуется русским «на примере», а там, где антрополог страшит не привыкшую к таким выражениям публику «примордиализмом», социолог предпочитает использовать хотя бы номинально более позитивно звучащие «позитивистскую методологию», «натурализацию» или «ошибку реификации». Существуют, разумеется, и такие области исследований, где жаргоны этих дисциплин сливаются в такой антропосоциологический волапук, в котором, как в монументальной скульптуре и живописи, дисциплинарные речевые традиции и смысловая нюансировка приносятся в жертву выразительности жеста (антропология организаций, экономическая социология *сmт* антропология и пр.).

получались тоже редукционистскими из-за невозможности перенести на бумагу всю тотальность опыта, не говоря уже о самой реальности, но редукция в этнографии как монографическом описании культуры никогда не играла роли регулятивного и методологического принципа, а была лишь следствием ограниченности возможностей наблюдателя и бытописателя.

Социологов у нас в стране кратно, быть может тридцатикратно, больше, чем антропологов / этнологов. Публика знает, что такое социолог, не понаслышке, а вот по поводу антрополога идеи возникают разные — чаще всего антропология ассоциируется с черепами и древними людьми. Чтобы объяснить исследуемым, чем они занимаются, антропологам у нас часто приходится прибегать к ино- и кривосказаниям — для музея, для науки, для здоровья и медицины, книжку буду писать про это и т.п. Социолог же может просто сказать, что проводит социологическое исследование, и все сразу понимают, что дело нужное и стоящее. Есть, конечно, и гигантские различия на рынке труда — российские работодатели не слишком-то ждут антропологов, плохо зная, как можно приспособить их знания и умения к собственным нуждам, а российские антропологи, в свою очередь, как правило, остаются все еще не слишком приспособленными к рыночной экономике и лучше взаимодействуют с государственным сектором, нежели с бизнес-сообществом. Социологи получают знания об основах современного менеджмента и в силу особенностей российских образовательных программ освоили лучше антропологов классику политической и экономической антропологии, поэтому выпускники социологических факультетов легче находят работу в разных секторах реальной экономики, в то время как области приложения труда у антропологов, обучающихся в системе исторического образования, остаются весьма традиционными — академическая или вузовская наука, преподавание, работа в музеях.

Разница в размерах сообществ, в известности и популярности этих дисциплин дают основания многим социологам смотреть на антропологов свысока и третировать их как существ, в науке смыслящих мало и образованных плоховато. Резоны для такого суждения есть — программы подготовки антропологов / этнологов серьезно устарели и не соответствуют дню сегодняшнему. Антропологи мстят, отвечая приграничными войнами и подчеркивая вообще-то давно канувшую в Лету уникальность изобретенного в их цеху метода — включенного / участвующего наблюдения, длительного и пристального, настолько пристального, что оптике социологического взгляда, по их мнению, до этой пристальности еще как до луны.

«Оттепели» 1960–1980-х гг., если не положившей конец приграничным трениям, то все-таки создавшей на отдельных участках «фронта» подобие братания между социологами и антропологами (см. неоднократно описанную историю институализации этносоциологии в нашей стране: [Арутюнян, Дробижева 2000; 2003; 2008; Дробижева 2004; Комарова 2011]), едва хватило на одно поколение. Социологи так и не стали частью антропологического комьюнити, а антропологи так и не освоили премудрости социологических методов и грамотной статистической обработки результатов, застряв на хи-квадрате и t-критерии Стьюдента. Рожденный от этого неравного брака гибрид оказался ребеночком с увечьем: советская теория этноса сыграла с этносоциологией плохую шутку. Социальную / классовую структуру вдруг еще раз (как это уже происходило в 1930-е гг. на практике, а не в теории) рассмотрели у этносов, что дало возможность на новом витке развития марксистской доксы применить к ним различные концепции социально-эволюционного развития и плодотворно плодить смахивающие на заскорузлые стереотипы «измерения этносов» («средняя личная библиотека сельского татарина состоит из пяти книг»). С утратой марксизмом командных высот «в одной отдельно взятой стране» этот дисциплинарный мезальянс практически распался, а вовлеченные в него социологи занялись востребованными к тому моменту исследованиями «этнических конфликтов», «межнациональных отношений», «этнических элит», этничности и национализма, ксенофобии и толерантности, т.е. по большей части прикладными политологическими проектами, в которых нуждались и которые были готовы оплачивать местные и центральные политические элиты или международные фонды.

В истории отечественной этносоциологии это был уже новый, самостоятельный этап, в котором собственно антропологи (этнологи, этнографы) уже практически не участвовали. Говоря «не участвовали», я вовсе не исключаю физического участия отдельных антропологов в совместных проектах, но имею в виду прежде всего теоретический и методологический вклад со стороны дисциплины в ту составляющую этносоциологии, которая и обозначена приставкой «этно-» и которая давала основания рассматривать ее как пограничную и синтетическую субдисциплину. Вклад антропологии в ее развитие в рамках рассматриваемого периода настолько неочевиден, что можно смело утверждать, что этносоциология оставила свое «этнографическое наследие», вступив в более выгодные и продуктивные альянсы с другими дисциплинами — политическими исследованиями власти, экономическими исследованиями сегментированного рынка труда, историко-политическими

исследованиями национализма и социально-психологически-ми исследованиями ксенофобии и толерантности. Сегодня, на мой взгляд, она является органичной частью социологии с несколько особым предметом, но ведь и другие социологические субдисциплины имеют особые предметы, так что этносоциология и здесь не нарушает общего строя.

Последний тезис подтверждается и анализом текущих публикаций в совместных междисциплинарных изданиях: единственный отечественный журнал, дерзнувший объединить эти дисциплины под одной крышей, — «Журнал социологии и социальной антропологии» — опубликовав за время своего существования с 1998 г. более 700 статей и материалов, публикациям по этносоциологии и социальной антропологии уделил лишь десятую часть, причем две трети из этих десяти процентов являются статьями по этносоциологии, т.е. социологическими исследованиями «межэтнических отношений», «национальной», этнокультурной и этноконфессиональной политики, этнической идентичности, этносоциальной стратификации и пр., лишь пять работ, написанных на полевых материалах, можно отнести к рубрике социально-антропологических исследований. Доля этнологических работ в существующем с 1992 г. журнале «Мир России: социология, этнология» еще ниже: за последние пять лет в этом журнале была опубликована лишь одна подборка из трех статей по этнической идентификации и проблемам интеграции мигрантов и одна статья о меньшинствах и национальной политике, чем и исчерпывается программа публикаций по этнологии в этот период.

Возвращаясь к этносоциологии, хочу отметить, что не везде она стала «современной» и отринула свое советское наследие: попытки «измерять этносы» с помощью социологического инструментария инерционно сохраняются в некоторых периферийных сообществах российских социологов, но это как раз тот случай, который я бы назвал бесперспективным направлением синтеза социологического и антропологического знания.

Сегодня между нашими дисциплинами оформились новые области синтеза и площадки для диалога, на этот раз не столько институциональные, сколько методологические. Часть многочисленного племени социологов не столько под влиянием доморощенных аргументов, сколько под мощным воздействием тех тенденций, которые развивались в социологической мысли за пределами страны, взяли на вооружение и включенное наблюдение, и требование продолжительной стационарной работы, и новые и доселе неслыханные российскими антропологами еще более интенсивные и настроенные на детальность фокусированные методы наблюдения и микроанализа, для

которых и русских слов-то пока не нашлось (grounded theory, shadowing, lab-study, focus-group и т.д.). В итоге то, что поначалу выглядело как заимствование из антропологии и именовалось этнографическим методом, превратилось в совокупность техник и умений практически исключительно социологических, российским антропологическим сообществом в целом не только не освоенных, но и остающихся для большей его части неизвестными. Результатом этого методологического переоснащения стало оформление новых для российского поля направлений: антропологии организаций и профессий, антропологических исследований науки и технологий, новый импульс развития получила и экономическая антропология. В этих субдисциплинах синтез этнографических методов наблюдения с социологическим знанием выглядит чрезвычайно перспективным и уже приносит свои плоды, однако антропологи оказались вовлеченными в этот процесс пока слабо, так что новые исследования во всех перечисленных выше областях осуществляются по большей части социологами. Потенциально продуктивными, или уже дающими свои плоды на основе синтеза этнографического и социологического подходов, или, вернее даже, не столько подходов, сколько умений и оптик, являются, таким образом, антропология и социология науки и научного знания, антропология организаций и исследования повседневности, в которых социологические традиции Зиммеля и Гоффмана имеют хорошие шансы завоевать признание среди почитателей Малиновского и Рэдклифф-Брауна.

Дисциплинарные границы в рамках так называемых «социальных наук» в плане *исследования*, а не *обучения* студентов по большому счету сегодня вряд ли представляют собой нечто большее, чем артефакт истории развития отдельных дисциплин, поскольку исследователи, специализирующиеся на изучении конкретных областей, опираются на междисциплинарный синтез методов и идей, лишь формально или по своему происхождению и историческому источнику относимых к социологии, антропологии, экономике или политическим наукам. При этом, добавлю, в разных национальных традициях для решения близких проблем используются различные междисциплинарные конфигурации знаний и исследовательских подходов. В некоторых из этих традиций социология и антропология бывали практически неразличимы и составляли одно исследовательское поле с единой проблематикой, хотя сама эта исследовательская область могла называться по-разному. Один из примеров — антропология в Кембридже в начале 1960-х гг., которую некоторые из обучавшихся тогда студентов не без оснований называли социологической антропологией [Kuper 1999: xiv]. «Социологической этнографией» можно

было бы назвать программу большинства экспедиций кафедры этнографии МГУ конца 1980-х гг., поскольку главным методом сбора материалов в них были анкетирование и массовые опросы, а основным объектом — «межэтнические отношения» [Соловей 2004: 328]¹.

Историческая инерция, политика в сфере образования и экономические факторы определяют междисциплинарные границы едва ли не в большей степени, нежели потребности и динамика внутривидисциплинарного развития знания: курсы по расе и этничности на факультетах социальных наук многих университетов США и Канады читают, например, практически исключительно социологи. Можно также вспомнить, что советская этносоциология развивалась приблизительно по тому же пути, что и американская социология этнических групп, но ее институциональное положение («прописка» в Институте этнографии, а не в Институте социологии АН СССР) при использовании вполне социологических методов исследования обуславливала ее ориентацию на этнографическую проблематику и интеграцию в тогдашнюю этнографию. С другой стороны, советская теоретическая этнография (в частности, теория этнических процессов) многое заимствовала из проводимых американскими социологами исследований ассимиляции и несла на себе печать социологического мышления.

Возможно, что мы живем сегодня в эру консолидации наук о человеке, когда эгоистические попытки их индивидуации выглядят бесперспективными. Возможно также, что ответ на вопрос о различиях и сходствах антропологии и социологии окажется интереснее, если поставить вопрос же: чем эти дисциплины отличаются в единых институциональных рамках, например на факультетах, отделениях, кафедрах или научных центрах, в названиях которых фигурируют они обе и где студенты получают обе специальности? Такие отделения,

¹ В конце 1980-х гг. при кафедре была организована лаборатория этносоциологии, которую возглавил А.А. Сусоколов. По свидетельствам ее выпускников, лаборатория именно из-за названия, в котором звучало слово «социология», служила центром притяжения для студентов, не пожелавших заниматься историей социализма, но и не попавших на более престижные кафедры истории зарубежных стран, где помимо истории обучали языкам региона специализации. В словечке «социология» тогдашним студентам мерещилась перспектива научной карьеры, в то время как этнография имела столь прочную репутацию «вспомогательной исторической дисциплины», что кроме карьеры школьного учителя большинству из них ничего не обещала, разве что «прибавку» в виде развлекательных летних выездов за счет заведения, именуемых «полевой практикой». Сама кафедра этнографии не считалась среди студентов истфака серьезной, собирая, по выражению одной из ее выпускниц, «лоботрясов и ловеласов» (в терминологии нынешнего поколения — мажоров и хайлафистов), т.е. народ, ищущий где полегче и повеселее.

Мне приходилось участвовать в паре экспедиционных выездов кафедральных этносоциологов, но сам я анкетирование не использовал, склоняясь к, как казалось мне, больше дающей беседе. Использовать статистические методы и считать я, впрочем, любил, но в значительном числе публикаций опознавал в них лишь громоздкую технику убеждения, а не открытия чего-то нового.

кафедры и центры, учебные программы или специализации есть во многих университетах США, Канады, Австралии и Новой Зеландии¹. Как известно, есть они и у нас — подготовку по социологии и антропологии получают студенты Калужского педагогического университета², Новосибирского и Саратовского технических университетов³, Московского университета дизайна и технологии и Российского социального университета в Москве⁴, а также социологического факультета Санкт-Петербургского университета. Кроме того, курсы по социальной, культурной, экономической и политической антропологии читаются социологам многих университетов страны. Однако это уже тема для вполне конкретного и самостоятельного исследования, выходящая за рамки обсуждаемых сегодня вопросов.

Библиография

Арутюнян Ю.В., Дробизжева Л.М. Этносоциология: пройденное и новые горизонты // Социологические исследования. 2000. № 4. С. 11–21.

Арутюнян Ю.В., Дробизжева Л.М. Этносоциология: некоторые итоги и перспективы // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. 1960–1990-е годы / Отв. ред. С.Я. Козлов. М.: Наука, 2003. С. 87–101.

¹ В США это отделения в университетах штатов Айдахо (ун-ты в Колдуэлле и Москве, Айдахо), Алабамы (Оберн), Виргинии (Зап. Виргинии в Моргантауне, Ун-т Маршалла в Хантингтоне и Ун-т Вашингтона и Ли в Лексингтоне, Джорджа Мэйсона в Фэрфаксе, Ун-т Лонгвуд в Фармвилле), Иллинойса (Рокфорд-колледж в Рокфорде, Wheaton College, Wheaton), Кентукки (Ун-т Восточного Кентукки в Ричмонде), Массачусетса (Амхерст-колледж, Уильямс Колледж в Уильямстауне), Миссисипи (Ун-т Южного Миссисипи, Хэттизберг), Нью-Йорка (Колгейтский и Кортлендский, а также колледж Хобарта и Вильяма Смита в Женеве, штат Нью-Йорк), Огайо, Пенсильвании (колледж Свортмор, ун-ты Лехай, Бакнелла, Кутцтауна и Вестчестерский), Северной Каролины (Релей и Западно-Каролинский в Каллоуи), Теннесси (ун-ты Среднего Теннесси, Мерфрисборо и Восточного Теннесси, Джонсон-сити), Техаса (в Техасском ун-те, Арлингтон, Техасском технологическом, Лаббок и Ун-те Тринити, Сан-Антонио, Эль Пасо), Южной Каролины (Ун-т Клемсон), в Северо-Восточном ун-те в Бостоне, в Ун-те Мэриленда и Балтимора, в Ун-те Говарда в Вашингтоне (DC). В Великобритании — в Школе востоковедения и африканистики Лондонского университета. В Канаде такие кафедры и отделения есть в университетах Саймона Фрейзера (Ванкувер), Виндзорском и Гельфа в Онтарио, ун-тах Оттавы и Карлтоне в Оттаве и Конкордии (Монреаль), в колледже Дугласа в Британской Колумбии, в Ун-те Кейп Бретон и Дальхаузи в Новой Шотландии. В Австралии — в Ун-те Нового Южного Уэльса, Ун-те Джеймса Кука (Таунсвилль), Ун-те Кертина (Перт), в Школе социальных наук Ун-та Квинсленда. В Венгрии в Центральном европейском ун-те в Будапеште.

² Существующая с 2000 г. кафедра социальной антропологии и сервиса в рамках Института социальных отношений КГПУ.

³ В 2011 г. кафедра социальной антропологии социально-гуманитарного факультета СГТУ была объединена с кафедрой социологии и получила название «социология, социальная антропология и социальная работа» (САС); кафедра социальной работы и социальной антропологии на факультете гуманитарного образования НГТУ.

⁴ Кафедра социологии и социальной антропологии Института социальной инженерии в МГУДТ и кафедра социальной антропологии и социологии социальной сферы на факультете социологии РГСУ.

- Арутюнян Ю.В., Дробижнева Л.М.* Этносоциология перед вызовами времени // Социологические исследования. 2008. № 7. С. 85–95.
- Дробижнева Л.М.* Этносоциология сегодня. Проблемы методологии междисциплинарных исследований // Междисциплинарные исследования в контексте социально-культурной антропологии. М.: Наука, 2004. С. 14–25.
- Комарова Г.А.* Отечественная этнография и этносоциология: опыт междисциплинарной интеграции // Феномен идентичности в современном гуманитарном знании / Сост. М.Н. Губогло, Н.А. Дубова. М.: Наука, 2011. С. 273–297.
- Соловей Т.Д.* Власть и наука в России. М.: [б.и.], 2004.
- Kuper A.* Culture: The Anthropologists' Account. Cambridge, MA; L.: Harvard University Press, 1999.

МИХАИЛ СТРОГАНОВ

1

Не являясь ни социологом, ни антропологом, я смотрю на соотношение между социологией и (социальной, культурной) антропологией со стороны. Но будучи филологом по образованию, я не могу не испытывать тяготения к культурной антропологии. Более того, я предпочитаю изучать филологический материал как культурный артефакт, т.е. рассматриваю даже то, что называют формой текста, как предмет культуры, а не как явление поэтики. Вследствие этого я и самую филологию понимаю как составную часть культурной антропологии. Это определяет мою позицию в ответах на предложенные вопросы. Понимаю, что она субъективна, но она моя.

Ответ на вопрос о соотношении между социологией и (социальной, культурной) антропологией содержится в наименовании дисциплин. Для социологии не требуется уточняющее определение, термин *антропологическая социология* избыточен, хотя это вовсе не значит, что методы антропологии имманентно присущи социологии. Но для того чтобы правильно понять, о какой

антропологии идет речь, требуется уточнение: *социальная, культурная*. Это уточнение очень важно: оно прививает к антропологии социологию с ее методами анализа и приемами обобщения. В современном научном дискурсе это, несомненно, более выигрышная позиция. Те дисциплины, которые тяготеют к использованию методов соседних дисциплин, вследствие этого и обогащаются — разумеется, за чужой счет. Те дисциплины, которые существуют и развиваются имманентно, могут обогащаться только благодаря внутренним ресурсам, а это менее результативно.

Примером (в смысле аргументом, доказательством) является уже тот факт, что данный «Форум» затеяли антропологи. Между тем я не помню, чтобы аналогичные потребности когда-либо возникали в среде социологов. Это даже естественно, поскольку многие данные антропологии едва ли могут стать материалом для социологического анализа.

2

Различие между социологом (не-антропологом) и антропологом (не-социологом) состоит в следующем. Антрополог видит перед собой конкретного человека даже в том случае, когда описывает коллектив в его обычаях и обрядах, а социолог видит перед собой коллектив даже в том случае, когда создает портрет, но это не индивидуальный портрет, а коллективный, собирательный. Это различие заложено в самом названии дисциплин и поэтому предопределено заранее. Установка социолога не на личность, а на коллектив является не ошибкой, а закономерностью. Но именно поэтому лично я предпочитаю антропологию, а не социологию. Антрополог работает с личностями, а социолог с цифрами, социолог обобщает через цифирь, и метод у него цифирный. Антрополог использует количественные средства анализа не отвлекаясь от конкретного их выражения, а всегда в материале.

Вот наглядный пример. Социолог, описывающий митинги протеста, проходящие в последнее время в нашей стране, сосредоточен на том, сколько людей какого социального слоя участвовали в той или иной акции. Это и является для него материалом для анализа и обобщений. И хотя социолог использует методы выборочного опроса, он претендует на репрезентативность своей выборки, ибо нерепрезентативная выборка лишает его работу всякого смысла. Антрополог, описывающий эти же митинги протеста, ставит в центр своего внимания содержание лозунгов, плакатов, атрибутики, поведения, и это неизбежно привлекает его внимание к конкретным личностям, к частным людям. Антрополога интересует человек с ленточкой или плакатом, и именно его он анализирует и осмысляет. Однако с ленточкой и плакатом на митинг приходит не боль-

шинство, а меньшинство, но это меньшинство для антрополога показательнее безличного большинства.

В итоге получается, что антропология в большей степени гуманитарная наука, чем социология. Между тем давно известно, что чем более гуманитарна та или иная дисциплина, т.е. чем с более мелкими числами (в пределе — единицами) она работает, тем более она расположена к экспансии в соседние и даже не соседние области. Нахальство науки — это на самом деле второе счастье, путь к обогащению (см. ответ на первый вопрос).

Тут приведу пример-не пример, но все же пример. Вот надо тебе издать и прокомментировать сочинения Николая Львова, у которого, в частности, есть книга об усовершенствовании печного отопления в XVIII в. Никто из специалистов (физики-историки науки) за это не берется. И берешься сам. Так чего ж ты ни читаешься, чтобы написать этот комментарий! И теорию печного дела непременно освоишь. Нахальство? Конечно. Но ведь и счастье, однако.

3

Я не думаю, что одни области пересечения антропологии и социологии могут оказаться перспективными, а другие, наоборот, не должны допускать вторжения соседней науки. Перспективными могут быть в принципе любые области пересечения. И если мы сейчас не видим этой перспективности, это значит только, что мы их не видим. Однако любой человек имеет право ходить по чужим полям и не должен препятствовать другим совершать то же на своем поле. Кто знает, что из этих походов может получиться? Кто возьмет грех на душу?

Бытовой пример. Только тот, кто боится соперничества, запрещает заниматься на своей делянке другому человеку. Нахал (бытовой) соперничества не боится. Он, может быть, не все так хорошо делает и на своей делянке, а уж на чужой и вовсе неудачно работает, но он работает, и в итоге это приносит свои плоды, может быть, не ему самому. То же самое мы видим и в сфере науки (см. ответ на второй вопрос).

4

Если признать себя культурным антропологом, то можно сказать, что мой опыт работы с коллегами-социологами относится к 1970–1980-м гг., когда я занимался проблемами чтения и достаточно регулярно сотрудничал с социологами чтения и бытования книги. Но именно тогда я и заметил то, о чем писал выше: филологи, исследующие чтение, читателя, книгу, приглашали к сотрудничеству социологов, а социологи со своей стороны подобных шагов не делали. Правда, встречались и такие социологи, которые шли в сторону филологии, но зато они в той или иной степени и уходили из социологии.

Говоря о различиях в методах, подходах, результатах, следовало бы привести пример отношения коллег к научной информации из смежных областей. Но я не хотел бы приводить пример из близкой гуманитарной сферы: вдруг кто прочитает «Форум»? Приведу из более далекой сферы, в расчете на то, что там «Антропологический форум» не читают. Но это, как я понимаю, только еще ярче обнажит проблему. В недавнее время я провел конференцию «Русское болото: между природой и культурой», в которой участвовали и гуманитарии (в основном, разумеется, филологи), и естественники (собственно болотоведы, как они сами себя называют). Болотоведы проявили неслыханную щедрость, оказав финансовую поддержку и самому проекту, и публикации его материалов. Итогами конференции все остались довольны. Меня потом пригласили на узко профессиональную конференцию болотоведов и включили в программу тему моего выступления в формулировке «Болото и искусство — как популяризировать болото». Я был в шоке: популяризировать болото ни я, ни другие коллеги-гуманитарии не собирались. Но болотоведы искренне считают, что вся польза от гуманитария состоит в популяризации научных знаний. Такого утилитарного подхода к коллеге-смежнику у гуманитария нет. Мы от естественников, например, ждали знаний, а они от нас — не знаний, а практического применения своих знаний. Они о болоте и без нас все знают, мы должны только популяризировать болото и создавать его положительный образ. Вот, собственно, в чем и состоит проблема. Чем более та или иная дисциплина отвлечена от индивидуального человека, тем она сама более прагматична и с тем большим прагматизмом относится к смежникам. И по аналогии в применении к гуманитарным наукам: чем большими величинами оперирует гуманитарная наука, тем она прагматичнее, чем индивидуализированнее величины ее анализа, тем она более беззаботна. Антропологи — это стрекозы, а социологи — муравьи, которые так и норовят поучить:

Ты все пела — это дело.

Так поди же попляши.

Социолог хоть общественное мнение изучает, чтобы потом этими данными воспользовался какой-нибудь политический деятель. А чего ждать от этого гуляки праздного, собственно нахала (см. ответ на третий вопрос)?

Не хочу, чтобы эти мои слова были восприняты как критика смежников, многие из которых мне по-человечески близки и знакомы. Поскольку они и на свою работу смотрят прагматически, постольку те же требования предъявляют и к другим. Но именно поэтому сочувственное сотворчество не случается,

а без него совместная разработка общих тем теряет всякий смысл.

5

О методах работы коллег, занимавшихся близкой темой с позиций другой дисциплины, я уже говорил. Дело не в том, что методы не удовлетворяют как таковые: методы не могут быть неудовлетворительными. Не удовлетворяют именно результаты, и именно по тем причинам, которые я изложил выше. Там, собственно, все «не так»: и не так он сено косит, и не так он воду носит. Мы берем у смежников материал, который сами своими методами добыть или не можем, или ленимся. И упаси нас Бог обсуждать их методы и приемы.

Примером этого и является все предыдущее рассуждение, которое фактически свелось к обсуждению методологии смежников, а в основе этого обсуждения лежит только одна цель — утверждение своего метода как единственно адекватного.

6

Ответ на вопрос о сильных сторонах антропологии и слабых сторонах социологии я написал выше. Трудно со своей точки зрения видеть вещи иначе. И речь, следовательно, нужно вести вовсе не о том, чтобы слабости одной науки компенсировать достоинствами другой в совместных исследованиях.

Как я понимаю, выход из положения только один: тотальное разрушение дисциплинарных перегородок в академическом пространстве и прекращение именовании исследователя по имени дисциплины. У Афанасия Фета учитель «каждый отдельный глагол прятал в отдельный залог». Так и нас запихали в клетки узкой профессионализации, и мы довольно быстро разучились видеть объект исследования во всей его целокупности. И мои ответы отражают как раз именно эту утрату целокупного взгляда на человека. Мы же с удовольствием читаем отдельные работы интересных социологов, а социологи, как я понимаю, с удовольствием читают работы интересных антропологов. Значит, главное не то, к какой клетке приписана работа, а то, в какой мере она интересна. Интерес же работе придает не узкая специализация, а широта взгляда, личность пишущего человека. Только тогда, когда мы поймем это, настанет рай на земле.

КИРИЛЛ ТИТАЕВ**Социология и антропология:
разнонаправленное развитие***Пределы сравнения*

В этой заметке хотелось бы отметить не различия между некоторыми идеальными типами — сферическими науками в вакуумных колбах, но поговорить о разнице между эмпирически наблюдаемыми сообществами отечественных социологов и антропологов. Материалом для этих размышлений (для автора-социолога) является опыт совместной работы, участие в конференциях по смежным темам и опыт чтения антропологической литературы по интересным мне проблемам (экономическая антропология, антропология права, антропология советского общества).

Вряд ли имеет смысл говорить о некоторых «коренных различиях» в теоретическом аппарате социологии и антропологии. Прежде всего потому что, как кажется, не существует некоторого единого концептуального аппарата ни у современной отечественной антропологии, ни у социологии. Существуют некоторые сообщества, которые называют себя «социологами» и «антропологами» и признаются в качестве таковых внешними агентами. Под внешним признанием следует понимать, например, то, что в интервью СМИ после фамилии человека пишут «антрополог» или «социолог», или то, что факт издания этими людьми журналов с названиями «Социологическое обозрение» или «Антропологический форум» не вызывает ни у кого тягостного недоумения.

При этом отдельные ученые могут обозначать свою принадлежность сразу к обеим общностям. В разных частях сообществ распространенность этого явления будет варьироваться от низкой до очень высокой. Так, если мы возьмем одну из близких к социальной антропологии социологических

Кирилл Дмитриевич Титаев
Европейский университет
в Санкт-Петербурге /
Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
Санкт-Петербург
ktitaev@eu.spb.ru

групп (Центр независимых социологических исследований, Санкт-Петербург), то увидим, что из 21 одного сотрудника только 8 не имеют в CV, размещенных на сайте организации¹, упоминаний об «антропологии» как сфере интересов или этого же слова как части названий проектов и публикаций.

Внутренняя структура каждого сообщества в отдельности весьма гетерогенна². Поэтому возникают зоны, которыми эти сообщества «соприкасаются», и те, в которых возможность контакта даже сложно вообразить. Так, непросто представить себе контакт между специалистом в области именования животных в русских сказках и социологом, занимающимся вопросами когнитивного анализа опросного инструмента.

Сфера, в которой возникает соприкосновение и в которой, соответственно, интересно отслеживать сходства и различия, объединена, как кажется, общим объектом. Это по большому счету любые эмпирические исследования современного российского общества или советского (т.е. недавнего) прошлого³. Дефицит эмпирического знания в этой сфере (точнее в каждой конкретной подотрасли) таков, что дисциплинарная замкнутость означает профессиональную смерть. Занимаясь социологией российского образования⁴, игнорировать антропологические исследования того же объекта по меньшей мере абсурдно.

Дополнительно интересно то, что даже внутренние границы в обоих сообществах пролегают схожим образом. Например, ван Мейрс [ван Мейрс 2001] выделяет две группы антропологов, подчеркивая принципиальные различия между теми, кто ориентирован на эмпирические исследования современности («охотники» в его терминологии), и теми, кто ориентирован на теоретические исследования или работу с историческим материалом («собиратели»). При этом он объединяет вместе тех, кто работает с теоретическим материалом, и тех, кто работает с данными об относительно далеком прошлом. В отечественной социологии долгое время наблюдалась похожая ситуация. Однако на границе 1980-х и 1990-х гг. стало понятно, что статус классиков полностью и безраздельно захвачен «эмпириками», причем такими эмпириками, которые ориентированы на прак-

¹ <<http://cisr.ru/team.html>>, названия издательств и журналов не учитывались.

² Обзоры можно найти в следующих текстах: [Соколов 2010; 2011; Соколовский 2008; 2011].

³ Можно добавить еще теоретические и историко-теоретические исследования, так как корпус «классических» текстов во многом совпадает, однако эту сферу соприкосновения двух научных областей мы оставим в стороне, не будучи достаточно компетентными в этой проблематике.

⁴ В среднем за 1998–2003 гг. 112 публикаций в год по всем подотраслям, см.: [Социология образования 2004].

тикоприменимые исследования¹. «Теоретическая» социология стала формироваться заново на новом материале (хотя отдельные анклавы, конечно, законсервировали в себе советский способ теоретической работы).

Итак, попробуем посмотреть на различия в профессиональной деятельности двух сообществ, работающих с эмпирическими исследованиями одного и того же предмета, — российской современности и российского же недавнего прошлого.

Эффект масштаба

Ключевым различием оказывается степень организационной оформленности двух дисциплин. Социологические факультеты, кафедры, центры и т.п. существуют в огромном количестве. Только в Петербурге в год выпускается около 300 бакалавров-социологов. Это не говоря уже о том, что по социологии существует бакалавриат, которого по антропологии просто нет, нет возможности получить степень кандидата антропологических наук и т.д. и т.п. Все это создает большие различия между сообществами и дисциплинарными *modus operandi*. Однако различия эти не так просты, как кажется на первый взгляд. Они могут быть объединены в две противоположно направленных тенденции.

Первая тенденция связана с тем, что избыточность «социологов», т.е. людей, у которых в дипломе или на визитной карточке написано «социолог», очень сильно размывает границы профессионального поля и одновременно вынуждает к поиску общего. Так, существуют социологи при мэриях, в коммерческих компаниях, социологи-преподаватели, независимые исследователи, специалисты, работающие в маркетинговых исследованиях, и т.д. Все они занимаются так или иначе социологическим «ремеслом» (мы оставляем здесь за рамками тех, кто, получив социологический диплом, идет работать, например, прорабом на стройку). Однако производят ли они некоторое дополнительное социологическое знание и можно ли вообще сказать, что они «занимаются социологией»? Многие авторитетные члены сообщества однозначно откажутся считать подавляющее большинство таких исследователей социологами.

Однако все эти виды «социологической» деятельности требуют овладения вполне конкретными профессиональными навыками. Думаю, что человека, который не может (именно не может, а не отказывается потому, что считает этот метод неадекват-

¹ Подробно механизм развития такой модели науки описан в: [Димке 2012].

ным) провести минимально пристойный опрос (т.е. составить анкету и определиться с выборкой), большая часть сообщества считать социологом откажется. То есть получается, что в социологии есть стандарты ремесла, которые, с одной стороны, вполне себе дискуссионны, с другой — относительно прозрачны. Когда мы говорим «он работает социологом», мы на повседневном уровне примерно представляем себе набор занятий, которым предается указанный персонаж в рабочее время.

В антропологии с такими общеразделяемыми стандартами навыков / умений / знаний все гораздо сложнее. Может ли являться антропологом человек, который никогда не читал Проппа? А может, он занимается современной городской антропологией, три года включенно наблюдал байкеров и написал о них отличную книжку? Можно ли говорить о том, что человек, который не взял в жизни ни одного интервью, — не антрополог? Но ведь он может быть блестящим специалистом по школьным учебникам первой половины XX в. и всю жизнь проработать с анализом текстов. Таким образом, возникает ситуация, в которой слабая организационная оформленность и малочисленность сообщества очень сильно затрудняют формирование повседневного представления о том, в чем состоит содержание профессиональной деятельности. Сообщение «она антрополог» не несет в себе практически никакой смысловой нагрузки, если оно служит ответом на вопрос «чем она занимается».

Вторая тенденция, которая является следствием различий в организационных формах существования социологии и антропологии, связана со степенью вовлеченности в научное производство — принадлежностью не к профессии, а к научной дисциплине. Социолог может оставаться социологом и восприниматься в качестве такового даже в том случае, если он не опубликовал в жизни ни одной научной работы, если производство научного знания его совершенно не интересует. С антропологом все иначе. Вряд ли кому-то придет в голову называть человека антропологом только потому, что он преподает предмет «Социальная антропология» и никак не зарекомендовал себя как ученый.

Более того, еще на стадии выбора, принятия решения человек, который идет «в антропологию», т.е. решает для себя «хочу быть антропологом» или в какой-то момент осознает, что именно антропологией он (оказывается) занимался последние десять лет, не может находиться нигде, кроме научного поля. Социолог же (и многолетние наблюдения автора за студентами и магистрантами это подтверждают) может быть ориентирован на очень высокие стандарты профессионального производства, но категорически и изначально отвергать научную карьеру.

Что теряется?

Когда Макс Вебер [Вебер 1990] пытался разобраться в значении слова *Beruf* (которое традиционно переводится с немецкого двумя словами — «призвание и профессия»), он обратил внимание на то, что оно подразумевает (в несколько вольной трактовке), с одной стороны, интеллектуальное ремесло, профессию — то, что человек может (и должен) уметь делать в той сфере, в которой действует. Вторая же часть, призвание, относительно более сложная, предполагает изначальную ориентацию на немного мистическую достижительную модель. Человек, для которого что-либо является «призванием», не только умеет нечто, но и обязательно стремится поддерживать профессиональный уровень сообщества и, главное, «служит» некоторым высшим идеалам своей профессии (и призвания).

Если перенести эту веберовскую модель на современное нам поле *social sciences* в России, то мы увидим, что антропология в этой модели получается призыванием без профессии, а социология — профессией без призвания. Социологом мы на повседневном уровне можем без всякого зазрения совести называть любого человека, овладевшего определенными техническими приемами. Антрополог же — это обязательно ученый, который всего лишь сам выбрал для себя это наименование. Однако никаких содержательных высказываний о его деятельности мы сделать не можем.

Именно это несоответствие, как кажется, и порождает подавляющее большинство противоречий и непониманий в междисциплинарном поле. Способы работы, ориентиры в оценке результата задаются именно сочетанием «служения науке» или «качественного ремесленничества». В идеале (когда-нибудь и где-нибудь) они, наверное, должны были бы соединяться в обеих науках относительно гармонично. Однако сейчас даже в пределах общих проектов фоновое дисциплинарное знание определяет, например, такую важную вещь, как границы науки и не-науки. Для утрированного социолога, например, просто описание (прямые распределения по результатам опроса или пересказ результатов интервью) не является научным продуктом, так как наука — это что-то большее, чем первичный продукт ремесленной работы. Однако, чтобы быть социологом, не обязательно заниматься наукой. Для утрированного же антрополога по определению все, что производится в пределах антропологического исследования, является научным продуктом. Обратная ситуация не менее показательна. Наука не может иметь иного измерения, кроме познавательной значимости результата. Ситуация, в которой социолог выбирает «социально значимые темы» или вовсе занимается прикладной

работой, автоматически выводит его для утрированного антрополога за пределы научного сообщества.

Библиография

- Мейрс В. ван.* Советская этнография: охотники или собиратели? // *Ab Imperio*. 2001. № 3. С. 9–42.
- Вебер М.* Наука как призвание и профессия / Пер.: А.Ф. Филиппов, П.П. Гайденок // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 707–735.
- Димке Д.* Классики без классики: социальные и культурные истоки интеллектуального стиля советской социологии // Социологические исследования. 2012, в печати.
- Соколов М.* Индивидуальные траектории и происхождение «естественных зон» в петербургской социологии // Журнал социологии и социальной антропологии. 2010. № 3. С. 111–132.
- Соколов М.* Рынки труда, стратификация и карьеры в советской социологии: история советской социологической профессии // Экономическая социология. 2011. № 4. С. 37–72.
- Соколовский С.* В цейтноте: заметки о состоянии российской антропологии // *Laboratorium*. 2011. № 2. С. 70–89.
- Соколовский С.* Российская антропология и проблемы ее историографии // Антропологический форум. 2008. № 9. С. 123–153.
- Социология образования 1980–2003 гг.: Библиографический указатель / Под ред. В.С. Собкина. М.: ЦСО РАО, 2004.

КА-ЧОНГ ЧОЙ

Двойная психологическая дистанция

В прошлом семестре я дал студентам нашего факультета социологии, посещавшим мой курс «Введение в культурную антропологию», задание написать небольшой текст о какой-то ситуации, связанной с опытом других культур, и с приложением по крайней мере одной фотоиллюстрации. В результате почти все эти ситуации оказались взятыми из «ненормативных» явлений, отнесенных к той или иной городской контркультуре, с которыми встречались студенты, а сами ситуации рассматривались со всей очевидностью «социологически», или объясняя то, или протестуя против того, почему эти вещи считаются нами ненор-

мальными. Например, гомосексуалы считаются отклонениями от нормы потому, что не следуют правилам гетеросексуалов, граффити — потому что считаются источником загрязнения городов и т.д. Одним словом, эти вещи рассматривались как негативные или альтернативные аспекты нормальной жизни этих студентов. Если мы можем сказать, что так называемая «научная точка зрения» на самом деле является своего рода «психологической дистанцией» по отношению к предмету, социологический подход лишь дистанцирует исследователя от предмета практически и стремится превратить предмет изучения в проблему, которая исследуется незаинтересованно. Этот уровень «психологической дистанции» можно назвать «единичным». Для сравнения, уровень «психологической дистанции» в культурной антропологии может считаться «двойным», поскольку, с одной стороны, то, чем является предмет изучения, не ясно с первого взгляда, а с другой, изучаемый материал не принадлежит к жизненным обстоятельствам исследователя. Этот тип методологической ситуации несомненно возникает при изучении племенных сообществ или этнических меньшинств. Тем не менее, даже если брать приведенные выше примеры, гомосексуалы могут, по меньшей мере, рассматриваться как этническое меньшинство, а граффити — как своего рода тотемная церемония. Наверное, можно было бы и к науке, наиболее известному и авторитетному достижению западной цивилизации, подойти антропологически, как это делает Бруно Латур в книге «Нового Времени не было» — если бы не наша «двойная психологическая дистанция».

Пер. с англ. Аркадия Блюмбаума

АНАТОЛИЙ ЯМСКОВ

Думаю, что перед тем как попытаться ответить на поставленные редакцией вопросы, стоит сказать несколько слов о моем отношении к дисциплинарным границам и междисциплинарным исследованиям. Это необходимо для понимания причин приводимых ниже суждений и самого факта моего участия в данной дискуссии.

Анатолий Николаевич Ямсков

Институт этнологии
и антропологии РАН, Москва /
Московский городской
педагогический университет
yamskov@bmail.ru

Сначала я вообще не собирался включаться в это обсуждение в силу явной специфики научной биографии и исследовательских интересов. Например, высшее образование

и опыт первых 2,5 лет профессиональной научной работы и экспедиций я получил на географическом факультете МГУ, причем в сфере физической географии (ландшафтоведения). Но тридцать лет назад, казалось бы, ушел в этнографию / этнологию, став в 1982 г. аспирантом, а затем и сотрудником Института этнографии АН СССР (Институт этнологии и антропологии с 1990 г.). (Кстати говоря, обычно я предпочитаю позиционировать себя в самом общем плане как «этнолог» или даже по старинке в качестве «этнографа», но в данном случае, идя навстречу пожеланиям редакции, буду использовать в качестве аналога термин «антрополог».) Однако это вовсе не означало разрыва связей с географией, а впоследствии прибавились еще и профессиональные контакты с социологией и политологией.

Так, в кандидатской диссертации о традиционном скотоводстве народов Кавказа в качестве эпиграфа мною были приведены слова В.И. Вернадского: «Мы все более специализируемся не по наукам, а по проблемам. Это позволяет, с одной стороны, чрезвычайно углубляться в изучаемое явление, а с другой — расширить охват его со всех точек зрения»¹. Этому завету выдающегося естествоиспытателя я пытаюсь по мере сил следовать и по сей день, занимаясь в основном междисциплинарными по своему характеру проблемами², такими как традиционное расселение, хозяйство и природопользование; социально-профессиональный состав и миграции сельского населения; этнические контакты и конфликты. Поэтому, например, в Российском индексе научного цитирования <www.elibrary.ru> из 43 публикаций, цитирующих мои работы, лишь 15 отнесены к историческим наукам (куда в нашей стране формально входит этнология / этнография), а 7 — к политическим наукам, 5 — к социологии (реально же 9, если считать вместе с «философией», двумя «экономиками» и «демографией»), 3 — к географии (фактически 5, учитывая также «биологию»-экологию и еще одну «экономику»), и еще 2 цитирующих работы из области «права» (о правах на землю коренных народов Севера) могут быть с почти равным успехом объединены с любой из вышеназванных дисциплин. Понятно, что при таком положении дел вопросы разграничения антропологии с социологией или другими дисциплинами меня ранее особенно не волновали.

¹ Эта формулировка, появившаяся в рукописях 1937–1938 гг., в данном случае цитируется по изданию: [Вернадский 1988: 73].

² Например, две моих, вероятно, достаточно удачных статьи были впоследствии перепечатаны в хрестоматиях, но не антропологических, а предназначенных студентам, изучающим социологию [Cross 2001: 328–357] или юридические науки [Обеспечение прав 2007: 266–277, 348–350].

Однако произошедшие недавно два случая заставили даже меня задуматься о дисциплинарных границах и в первую очередь о различиях между антропологией и социологией. Об этом я достаточно подробно высказываюсь далее, в ответах на вопросы 1, 4. Именно эти два случая из реальной профессиональной жизни заставили меня все же подключиться к обсуждению, начатому редакцией, хотя я и отдаю себе отчет в том, что мое мнение будет достаточно маргинальным (в буквальном, а не уничижительном значении последнего слова) в силу названных выше обстоятельств научной биографии. Однако и моя точка зрения научного работника, чью дисциплинарную принадлежность определить вообще-то нелегко, имеет право на существование и, возможно, будет интересна представителям «чистого дисциплинарного знания».

1

Не буду оригинален: как считается в мире, культурная антропология является одной из социальных наук и, следовательно, наиболее близка прежде всего к другим социальным наукам — социологии, политологии, социально-экономической географии. Отечественная традиция числить культурную антропологию (этнологию, этнографию) в ряду исторических наук не только не является оптимальной, но и фактически не соответствует действительности минимум с 1970-х гг. К тому времени усилиями преимущественно отечественных этнографов, но также и представителей ряда других наук резко расширилось исследовательское поле этой дисциплины, и она оказалась связанной не менее тесно, чем с историей, также с физической (биологической) антропологией, археологией, социологией, демографией, лингвистикой, фольклористикой, психологией, физической географией и экологией, экономикой. Тот же самый процесс еще более активно шел и в других странах. Соответственно, в зонах перекрытия исследовательских интересов этих дисциплин возникло множество междисциплинарных областей, о многих из которых зачастую невозможно сказать однозначно — что это, антропология со значительным привнесением методов и задач иной научной дисциплины или все же какая-то другая наука с явно прослеживающимся влиянием антропологии.

С вопросом об истинном соотношении антропологии и социологии прямо связан казус в Институте этнологии и антропологии РАН (ИЭА РАН), произошедший осенью 2011 г. Это событие произвело на меня весьма сильное негативное впечатление, и именно оно подвигло на участие в данной дискуссии. Дело в том, что в РАН начали наконец оценивать результативность работы институтов и отдельных исследователей в том числе и по цитируемости их работ, включая цитируемость в базе данных “Web of Science” (Thomson Reuters). С целью

дать сотрудникам информацию о том, какие именно зарубежные и отечественные журналы входят в эту базу данных, нам из РАН разослали одну из тематических подборок. Как это ни удивительно, мы получили “Arts and Humanities Citation Index”. В нем, между прочим, имеется только по два журнала с названиями, производными от терминов “anthropology” и “ethnology” (итого всего 4 издания), тогда как искусству кино (с корнем “cinema” в названии) посвящено 5 журналов, театроведению — 18 журналов, различным направлениям литературоведения — более 79 журналов (точнее сказать не могу, ибо не во всех языках это понятие содержит корень “literature”). Вот они, печальные плоды, с одной стороны, представлений об этнологии (культурной антропологии) как якобы исторической науке (относящейся, таким образом, к “humanities” по международной классификации), а с другой стороны, излишнего увлечения идеями постмодернизма, по сути действительно сблизившего антропологию с литературной или театральной критикой по методам интерпретации данных.

Разумеется, на родине постмодернизма таких глупых ошибок никто не совершает, и антропология, равно как этнология или этнография, включаются в совсем другую подборку “Web of Science” — “Social Sciences Citation Index”. Именно там можно найти соответственно 17, 2 и еще 2 журнала, то есть в целом 21 издание по антропологии (этнологии, этнографии), наряду с 29 журналами по социологии, более чем 46 изданиями по политологии (некоторые другие просто не включают в свое название слово “political” и производные от него) и 20 журналами по географии. Именно так мир видит ближайшее окружение антропологии как науки, и вряд ли стоит спорить с такими взглядами.

Случившееся в ИЭА РАН минувшей осенью свидетельствует прежде всего о том, что по крайней мере часть руководства отечественной наукой неадекватно (т.е. не так, как принято в современном мире) представляет себе место антропологии (этнологии) среди других дисциплин. Опасность этого видится мне прежде всего в том, что в силу такого положения вещей размываются представления об антропологии как о социальной науке и, напротив, имеют место попытки выдать ее за одно из направлений гуманитарного знания (humanities), что не может не сказаться самым пагубным образом на взглядах на методы и процедуру организации антропологических исследований, характер научных выводов и их аргументацию. В такой ситуации стоит приложить все усилия к тому, чтобы подчеркнуть принадлежность антропологии к общественным наукам и в первую очередь ее близость к социологии.

- 2** Отвечу вполне традиционно: в социологии основной акцент делается на сбор и анализ количественных данных (статистических, результатов массовых анкетирований или опросов и т.д.). В антропологии же преобладают или по крайней мере играют очень важную роль методы получения и обработки качественной информации, получаемой в результате наблюдений, тематически ориентированных и / или глубинных интервью (скорее собеседований, зачастую неоднократных, с действительно знающими информантами) и т.п. Пожалуй, главное различие между этими дисциплинами все же заключается в том, что для социолога необходимо определить и доказать репрезентативность изучаемой им выборки (если, конечно, речь не идет о сплошном обследовании населения). В антропологии лишь предполагается, что полученные выводы и обобщения справедливы (или были верны до недавних пор) не только по отношению к реально изученным людям или семьям, но и к большинству членов той социкультурной группы, которую эти информанты представляют. Все это, естественно, относится лишь к сбору полевых материалов и их первичному анализу, но вот на следующей стадии (осмысление полученных данных, формулирование и доказательство гипотез) особых различий между социологами и антропологами (да и представителями других социальных наук), на мой взгляд, нет и не должно быть.
- 3** О возможной тематике перспективных совместных исследований мною сказано ниже, в ответе на шестой вопрос. Не думаю, что в науке могут быть какие-либо «запретные» либо «нежелательные» для изучения социологами или антропологами проблемы жизни общества или функционирования культуры, которая, как известно, является способом организации человеческой деятельности.
- 4** В 2005–2007 гг. мне посчастливилось участвовать в проекте по изучению гастарбайтерства гагаузов (Гагаузия — территориальная автономия в южной части Молдавии), которым руководили известный этносоциолог профессор М.Н. Губогло и Н.А. Дубова, руководитель группы этноэкологии ИЭА РАН. В течение трех лет я выезжал для индивидуальных полевых исследований (сбора статистики из похозяйственных книг и интервьюирования жителей) и опубликовал серию статей по временным трудовым миграциям за рубеж гагаузов из трех селений. Выбор обследованных сел был во многом случайным, но ни одно из них не отличалось каким-либо своеобразием на фоне остальной Гагаузии, и к тому же они представляли ее разные административные районы (долаи). В то время в этих обследованных селениях проживали примерно 8 тысяч человек из 97,5 тысяч сельских жителей региона, а всего в Гагаузии насчитывалось тогда 27 селений. Образцом, хотя и не достижи-

мым с точки зрения глубины и тематической широты исследования, послужила для меня классическая советская этнографическая работа по селу Вирятино Тамбовской области [Село Вирятино 1958] и ряд других, хотя и менее известных многолетних стационарных экспедиций в отдельные села.

Считая свой подход (углубленное исследование феномена гастарбайтерства гагаузов на примере изучения нескольких сел) вполне тривиальным для отечественной антропологии (этнологии / этнографии), я был первоначально весьма удивлен его критикой со стороны коллеги по проекту этносоциолога И.А. Субботиной¹. Позднее, естественно, мне пришлось ответить на ее замечания и обосновать свою точку зрения на то, как следует антропологу организовывать изучение временных трудовых миграций сельских жителей [Ямсков 2008: 74–79]. Разумеется, здесь не место и не время воспроизводить ту дискуссию, но суть ее проста. Этносоциолог выступила как профессиональный социолог: она указала на то, что в случае моих исследований не были соблюдены базовые правила организации полевых работ, т.е. не было проведено расчетов того, какая выборка сел и информантов могла бы быть репрезентативной для сельской Гагаузии, и не были сформулированы правила отбора конкретных сел для обследования. Другие замечания И.А. Субботиной, как мне кажется, скорее характеризуют ее личные профессиональные особенности, а не ориентацию на методы полевых социологических исследований.

Таким образом, налицо был конфликт представлений о должных методах сбора полевых материалов, хотя мы оба собирали в сущности одни и те же сведения — данные об участии местных жителей во временных трудовых миграциях (преимущественно в Россию или в Турцию), зафиксированные в похозяйственных книгах селений, и мнения самих сельчан и представителей сельских администраций об этом явлении и его социально-культурных и экономических аспектах. Только я, как мне кажется, работал в поле как антрополог (этнолог / этнограф), а И.А. Субботина — как социолог. Кстати говоря, наши итоговые тексты тоже довольно значительно различаются по тематике и смысловым акцентам², хотя мы и пишем об одном и том же явлении — гастарбайтерстве гагаузов, прежде всего сельских. Однако я полагаю, что такие различия между отдельными авторами в подходах к изучаемому явлению — огромное достоинство того проекта, ведь в итоге читатель получил гораздо более объемную комплексную картину жизни

¹ Подробнее ее замечания см.: [Субботина 2006: 100–103].

² Наши тексты можно найти в обоих названных выше сборниках, а также в выходящей на рубеже 2011–2012 гг. коллективной монографии: [Гагаузы 2011].

гагаузских селений, характеризовавшихся массовым развитием гастарбайтерства, середины 2000-х гг.

5

Полагаю, что речь должна идти в первую очередь о научном уровне исследования, а не о его дисциплинарной специфике. Подобная постановка вопроса мне вообще не близка. Такие вопросы подталкивают к ответам, в которых возможны попытки сделать выводы о достоинствах и недостатках самих дисциплин, а не конкретных авторов, их представляющих, из сопоставления слабой работы, выполненной в рамках одной из названных дисциплин, и действительно сильного в профессиональном отношении исследования из области другой дисциплины.

6

Боюсь, самый общий ответ на этот вопрос прозвучит банально. Как известно, у разных наук, в том числе у социологии и антропологии, различные задачи и методы, но научная ценность результатов исследования определяется квалификацией выполнивших его людей и их отношением к своей работе.

Однако в такой постановке вопроса все же есть и рациональное зерно. Дело в том, что в социологии, как правило, гораздо более четко регламентирован инструментарий и методика полевого исследования. Поэтому научные результаты социологов оценить намного проще — они либо точны (адекватны), либо можно заметить недостатки, ошибки или даже элементы халтуры в организации выполненного исследования и тем самым усомниться в надежности предлагаемых выводов и обобщений. Напротив, в полевой антропологической работе гораздо большую роль играют принципиально неформализуемые исследовательские процедуры, и потому приходится в гораздо большей степени просто доверять исследователю. Достаточно вспомнить, как сложно порой бывает выявить «информанта-эксперта» (информанта — носителя уникальных знаний), сколь значим иногда оказывается в таком деле слепой случай, а ведь именно от этого в итоге во многом зависит результативность исследования. Таким образом, «роль личности» исследователя в антропологии существенно больше, чем в социологии (речь идет, естественно, только о стадии сбора и первичной интерпретации фактических сведений). Отсюда, кстати, следует, что, теоретически рассуждая, требования к подготовке студентов-антропологов должны быть выше, чем, например, социологов, ибо такова специфика профессии. В социологии заметно больше «ремесла», которому можно научить почти любого, а в антропологии — «искусства», т.е. опыта, квалификации, интеллектуальных способностей и интуиции исследователя.

Несложно догадаться, что в целом ряде случаев оптимальным решением является изучение одной социальной проблемы

усилиями социологов и антропологов (точнее, конечно, будет сказать — методами социологии и антропологии). Спектр таких актуальных проблем очень велик — это межэтнические отношения и конфликты, миграции и адаптация мигрантов, семья и рождаемость, отношение к здоровью и болезням, экономическое положение и структура занятости отдельных социокультурных групп населения и т.п.

Библиография

- Вернадский В.И.* Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988.
- Гагаузы / Отв. ред. М.Н. Губогло, Е.Н. Квилинкова. М.: Наука, 2011.
- Обеспечение прав коренных малочисленных народов Севера: Хрестоматия / Сост. Н.В. Данилова, Л.В. Зайцева, Ю.В. Шанаурина. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007.
- Село Вирятино в прошлом и настоящем. Опыт этнографического изучения русской колхозной деревни / Отв. ред. П.И. Кушнер. М.: Изд. АН СССР, 1958.
- Субботина И.А.* Традиции трудовой миграции у гагаузов // Курсом изменяющейся Молдовы. Материалы I российско-молдавского симпозиума «Трансформационные процессы в Республике Молдова. Постсоветский период», посвященного 40-летию этносоциологических исследований. 25–26 сентября 2006 г., г. Комрат / Ред. М.Н. Губогло. М.: Старый сад, 2006. С. 72–118.
- Ямсков А.Н.* Гастарбайтерство в гагаузских селах Бешалма, Кириет-Лунга и Чишмикиой (по данным этнографических и статистических исследований 2005–2007 гг.) // Гастарбайтерство. Факторы адаптации / Сост. Н.А. Дубова. Ред. М.Н. Губогло. М.: Старый сад, 2008. С. 63–120.
- Cross M.* (ed.). The Sociology of Race and Ethnicity. Vol. 2. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2001.

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Социологи работали там, куда можно было доехать на поезде и где можно было остановиться в приличной гостинице, а антропологи — там, где нельзя (*Михаил Соколов*).

Социология и антропология — это полезные и глубокие методологические метафоры (*Павел Романов, Елена Ярская-Смирнова*).

Антропологи — это стрекозы, а социологи — муравьи (*Михаил Строганов*).

На этот раз редколлегия попросила читателей журнала высказать свое мнение о соотношении между социологией и (социальной, культурной) антропологией, профессиональных признаках социолога и антрополога, об областях пересечения двух дисциплин, опыте совместной работы с представителями «соседней» науки, о различиях в методах, подходах, результатах и т.д.

Редколлегия сформулировала шесть вопросов, однако далеко не все полученные ответы следуют за этими вопросами: многие предпочли представить более или менее цельные тексты, в ряде случаев — полноценные эссе, посвященные соотношению двух наук, их методов, объектов, истории формирования, отношениям между специалистами. В эту группу попадают и социологи (Виктор Вахштайн, Михаил Соколов, Кирилл Титаев, Елена Ярская-Смирнова и Павел Романов), и антропологи (Виктор Бочаров, Себастьян Джоб, Светлана Рыжакowa и Сергей Соколовский).

С одной стороны, возможность ознакомиться с позициями участников дискуссии по полноценным текстам, фактически небольшим статьям на предложенную тему — это несомненное благо для читателя; с другой стороны, эта «вольность» ставит авторов подобных статей в более выгодное положение по сравнению с теми участниками дискуссии, которые «честно», по пунктам

отвечают на вопросы редколлегии. Думается, что редколлегия должна учесть это на будущее и выработать общую политику для подобных случаев.

Отчасти по указанной причине в этом коротком заключении «От редколлегии» мы предпочли отказаться от разбора ответов «по номерам» и вместо этого предлагаем вниманию читателей коллаж из цитат, более или менее сгруппированных тематически.

1. Некоторые из ответивших полагают, что *различия* между социологами и антропологами *лежат в объекте и методе исследования*. Так, по мнению Дмитрия Громова, социология делает больший упор на общество, а социальная антропология — на человека. При этом социология пользуется количественными методами (анкеты), а антропология — качественными (интервью). Если же попадается социологическая книжка, которая построена на качественных методах, то, по мнению Громова, ее автор просто использует методы социальной антропологии.

Близкую мысль, изложенную другими словами, встречаем у Вячеслава Иванова: «Для результатов социологии важны статистические критерии достоверности, тогда как антропологу должно быть важно согласование его выводов с субъективной самооценкой исследуемого человека».

Аналогично у Михаила Строганова: «Антрополог видит перед собой конкретного человека даже в том случае, когда описывает коллектив в его обычаях и обрядах, а социолог видит перед собой коллектив даже в том случае, когда создает портрет».

Социология начинает с материалов макроуровня (большие тенденции, большие теории) в надежде сказать что-то о микроуровне. Антропология, напротив, начинает с микроявлений и надеется со временем сказать что-то релевантное не только по отношению к данному конкретному участку (Эвелин Бингаман).

Чуть иначе — у Александра Садового, который акцентирует не характер, а хронологические рамки изучаемого объекта: поскольку «социальная антропология выступает в качестве базовой учебной дисциплины при специализации как в области этнологии, так и социологии», то «между этими науками остается только одно принципиальное различие — хронологические рамки исследования». Если для социологов (и прикладных антропологов) особый интерес представляют текущие социальные процессы, то для специализирующихся в области социальной антропологии границы исследования могут охватывать несколько столетий, включая и нынешнее.

С этими и аналогичными подходами не согласен Сергей Соколовский: «Сравнение идеально-типических или классических воплощений этих двух видов знания (одно специализируется на “простых” дописьменных “примитивных” культурах периферии, другое — на сложных индустриальных, урбанизированных и западных обществах метрополий, одно — на количественных методах, другое — на включенном длительном наблюдении) представляется уже недостаточным».

Другой вариант ответа исходит из *происхождения* двух наук: «Если социология возникает как наука для изучения западного общества, то антропология — восточного (традиционного)», поэтому «наибольшее развитие она получила в странах, имевших богатый колониальный опыт» (Виктор Бочаров). При этом в качестве примера таких стран автор называет Англию, Германию и Францию, но почему-то не называет Россию. Несколько иначе ставят вопрос в своем совместном тексте Павел Романов и Елена Ярская-Смирнова: «Социология возникла в XIX в. как попытка сформировать непротиворечивую картину современного индустриального общества, его структурных элементов <...> социальная антропология была призвана улучшить колониальное правление / управление культурным многообразием», со временем науки сблизилась, так как антропологи стали заниматься современными и близкими им обществами (т.е. поменяли объект), а социологи стали пользоваться качественными методами (т.е. поменяли метод).

2. Различия — в общем подходе к исследованию. Этот тезис — один из основных в тексте Михаила Соколова. По его мнению, претензии социологов состоят в том, что они не просто узнают факты о какой-то группе, среде или институте за счет включенного наблюдения, но и способны больше понять в этих фактах и лучше их интерпретировать, «поскольку стоят на плечах гигантов, составляющих социологическую традицию». Эта традиция, которая в социологии отождествляется с теорией, важна еще и потому, что «позволяла социологам чувствовать себя “настоящей наукой” на фоне физиков или хотя бы биологов». Отношение автора к этому скорее ироническое: социологи, пишет он, «иногда трактовали больший интерес антропологов к тому, что они непосредственно видят, чем к тому, на чьи плечи они вскарабкались, чтобы это увидеть, как признак интеллектуальной слабости. Излишне говорить о том, что, как мне кажется, все обстоит наоборот».

«Противоположный лагерь» тоже отдает себе отчет в неравноправных отношениях двух наук: «Разница в размерах сообществ, в известности и популярности этих дисциплин дают основания многим социологам смотреть на антропологов свы-

сока и третировать их как существ, в науке смыслящих мало и образованных плоховато» (Сергей Соколовский).

«Социологи претендуют на открытие, формулирование или описание социальных законов и закономерностей, тогда как антропологи в лучшем случае описывают явные и скрытые правила, которым подчиняются отдельные индивиды и коллективы <...> именно эта установка делает социолога не антропологом (а ее отсутствие у антрополога не позволяет ему стать полноценным социологом)» (Сергей Соколовский). О том же, но другими словами, пишут Влада Баранова, Виктор Вахштайн, Борис Винер, Анатолий Ямсков.

(Нейтрализация оппозиции социология / антропология, по мнению Михаила Соколова, происходит в новой дисциплине, которая называется «городская этнография»: «в этой среде никакого различия [между социологией и антропологией] не прослеживается». Если исходить из того, что встреча антропологов и социологов неизбежна, причем эта встреча происходит «в том самом неблагополучном районе “городской этнографии”», то им стоит быть готовым к тому, что они вряд ли смогут обогатить друг друга, поскольку методы, которыми они пользуются, в этих условиях практически неотличимы.)

Эта сосредоточенность на теории, на методе в некоторых случаях идет в ущерб содержанию, особенно в ученических работах: «достаточно часто встречаются социологические студенческие или аспирантские работы, в которых подробно разбираются теоретические основания исследования и подходы классиков, детально описываются вход и выход из поля, сложности в работе, но до самого объекта дело не доходит. Возможно, что антропологии (как и полевой лингвистике, например) не следует полностью отказываться от описательных работ, идущих от традиции этнографических описаний» (Влада Баранова).

Интересный подход демонстрирует Сьюзен Гэл, предлагая посмотреть, что *не нравится* представителям одной науки у другой: «Антропологов удивляет то, что социологи могут удовлетворяться ответами, которые кажутся им столь поверхностными. Социологов шокирует, что антропологи осмеливаются делать обобщения столь неформальным и опрометчивым образом на основе своих незначительных примеров». Та же мысль метафорически сформулирована у Константина Рангочева: «Социология смотрит на лес или на отдельные лесные массивы, но ей трудно увидеть деревья или отдельное дерево. Антропология, наоборот, смотрит на деревья и иной раз не видит леса».

3. Для некоторых авторов *различия между социологией и антропологией несущественны* или строятся на словесной игре: «Социология, в сущности, есть часть социальной антропологии в широком смысле слова. А можно считать и наоборот. Это дело вкуса и личного подхода. Хорошие результаты при хорошей работе можно получить и так, и этак. В любом случае речь идет об изучении человеческого сообщества и норм его жизни» (Сергей Арутюнов). Или другой автор: «Сначала мы постулируем существование науки, объединяющей предметы этнографии и социологии (под именем социологии или социальной антропологии), а затем приступаем к выяснению, как эта наука соотносится с этнографией или социологией» — и тогда одновременно оказываются верными два взаимоисключающих утверждения: «объем понятия социологии включен в объем понятия антропологии» и «объем понятия антропологии включен в объем понятия социологии» (Павел Белков).

Несмотря на различия в методах и подходах, социология и антропология *объединены* общим объектом: «Это <...> любые эмпирические исследования современного российского общества или советского (т.е. недавнего) прошлого». И далее: «если мы возьмем одну из близких к социальной антропологии социологических групп (Центр независимых социологических исследований, Санкт-Петербург), то увидим, что из 21 сотрудника только 8 не имеют в CV, размещенных на сайте организации, упоминаний об “антропологии” как сфере интересов или этого же слова как части названий проектов и публикаций» (Кирилл Титаев). И вообще, для конкретного исследователя, читающего чужие работы, важнее предмет исследования, нежели методы: «Специалисты по тому или иному региону хорошо знают о работе, проводящейся в их регионе или посвященной ему, невзирая на границы между социологией и антропологией» (Сьюзен Гэл).

Сьюзен Гэл также считает, что различие между социологией и антропологией лишь в расстановке акцентов: «Социологов больше интересуют организация структурированной деятельности и ее институционализация, антропологов — то, как люди наделяют смыслом свои действия или конструируют структуру деятельности на основе значения». По мнению Елены Осетровой, «социолог не в состоянии корректно рассуждать об обществе, не имея в виду индивида либо по крайней мере тот или иной социальный типаж <...> Одновременно антрополог вынужден постоянно выходить за рамки личного мира человека, рассматривая его как существо групповое и коллективное», — разница здесь «в выборе плана обзора: антрополог *в деталях* рассматривает человека и его ближайшее

<...> окружение <...> социолог же пытается взглянуть на *общество*, предпочитая *широкий угол зрения*».

Константин Рангочев, полемически заостряя, ставит отличия двух наук в зависимость от степени таланта исследователя: по его мнению, антропология и социология — это «взаимопересекающиеся множества, которые не совпадают одно с другим. В зоне пересечения множеств находятся гениальные социологи и антропологи, а вне ее — остальные». Эта же мысль в существенно менее заостренной форме высказана в ответах Елены Осетровой: всегда есть «узкие специалисты, которым комфортно в строго ограниченных рамках одной области <...> а есть <...> фристайлеры от науки, нацеленные на максимально широкий информационный захват <...> При этом и те и другие могут быть высокими профессионалами».

В общем, «охраняя свой суверенитет, утверждая свою исключительность и критически оценивая результаты работы коллег, расположившихся на сопредельных территориях, гуманитарии часто излишне категоричны в своих оценках в глаза и за глаза» (Елена Осетрова). Или, как пишут Павел Романов и Елена Ярская-Смирнова, «совместная деятельность с антропологами и социологами не позволяет выделить какие-то принципиальные родовые различия в методах, подходах и результатах, если не считать, что в социальной антропологии скорее маргинальны количественные подходы, основанные на массовых опросах, статистическом анализе, а в социологии, наоборот, этнографические, нарративные методы прокладывают себе пока что окольные пути».

4. Вторая тема, звучащая в ответах, — это тема уточнения: что мы, собственно говоря, сравниваем? Во многих ответах предложенное редколлегией противопоставление «социология — социальная антропология» не то чтобы поставлено под сомнение, но дополнено, уточнено, расширено. Так, прежде всего необходимо различать «идеальные типы» социолога и антрополога, «какими мы их воображаем», и реальных российских представителей обеих профессий: от этого зависит, в частности, ответ на второй вопрос редколлегии — о профессиональных признаках социолога и антрополога (Павел Романов, Елена Ярская-Смирнова).

Влада Баранова, признавая, что социологическое и антропологическое сообщества отличаются, отмечает, что «разница между ними в материале, в постановке проблемы, терминологическом и ссылочном аппаратах и методах порой намного меньше, чем между представителями одной дисциплины, работающими в разных традициях»: современный российский социальный антрополог скорее поймет современного россий-

ского социолога (и будет понят им), чем этнографа, работающего в традиционной научной парадигме.

Кроме того, сами понятия «социолог» и «антрополог» различаются в разных национальных традициях. Так, приведя интересный рассказ об индийском социологе, Светлана Рыжакова делает важное замечание: «Нельзя быть до конца уверенным, что люди, принадлежащие к разным национальным научным школам и называющие себя “антропологами” или “социологами”, занимаются одним и тем же делом, используют сходную методологию, да и вообще понимают друг друга при встрече», — и далее: «Характерное для российской ситуации противопоставление методов, преимущественно качественного в антропологии и преимущественно количественного в социологии, совершенно не типично для тех же по названию индийских дисциплин». То же в более общем виде формулирует и Сергей Соколовский: «В разных национальных традициях для решения близких проблем используются различные междисциплинарные конфигурации знаний и исследовательских подходов».

Кирилл Титаев также ставит под сомнение исходные термины дискуссии, аргументируя с «постмодернистских» (или, если угодно, «деконструктивистских» позиций): «Не существует некоторого единого концептуального аппарата ни у современной отечественной антропологии, ни у социологии. Существуют некоторые сообщества, которые называют себя “социологами” и “антропологами” и признаются в качестве таковых внешними агентами».

Еще одно отличие между дисциплинами — количественное — отмечено двумя авторами: антропологом и социологом. Сергей Соколовский пишет, что социологов в России в десятки раз больше, чем антропологов, общество знает, кто такие социологи, а вот кто такие антропологи... «Чтобы объяснить исследуемым, чем они занимаются, антропологам у нас часто приходится прибегать к ино- и кривосказаниям — для музея, для науки, для здоровья и медицины, книжку буду писать про это и т.п. Социолог же может просто сказать, что проводит социологическое исследование, и все сразу понимают, что дело нужное и стоящее». Похожую мысль встречаем у Кирилла Титаева: он тоже отмечает количественное преобладание социологов и их большую организованность, и констатирует, что в антропологии «слабая организационная оформленность и малочисленность сообщества очень сильно затрудняют формирование повседневного представления о том, в чем состоит содержание профессиональной деятельности».

Двое отвечавших отметили еще одно важное отличие двух дисциплин: поскольку частью антропологии является исследова-

ние вербальной коммуникации, то «для антропологического учебника или вводного курса немислимо не включать развернутый разговор о языке. Не так обстоит дело в социологии» (Сьюзен Гэл). Для Константина Рангочева изучение языка составляет третью точку опоры любой учебной программы: наряду с антропологией и социологией необходимо изучение языка того общества, которое предстоит исследовать.

Хотелось бы выделить еще несколько идей, которые высказаны в полученных ответах. Продуктивным кажется подход Кирилла Титаева, который сравнивает не две дисциплины, а профессиональные возможности ученых, занимающихся исследованиями в этих областях. По его мнению, перед антропологами лежит очень узкий спектр возможностей: если они хотят оставаться антропологами, они должны заниматься только наукой, и никакая иная деятельность для них невозможна. Социологи же могут заниматься практической работой, не написать ни одной научной статьи и при этом оставаться социологами. «Антропология <...> получается призванием без профессии, а социология — профессией без призвания. Социологом мы <...> можем <...> назвать любого человека, овладевшего определенными техническими приемами. Антрополог же — это обязательно ученый, который всего лишь сам выбрал для себя это наименование. <...> Именно это несоответствие, как кажется, и порождает подавляющее большинство противоречий и непониманий в междисциплинарном поле».

Важное различие между двумя дисциплинами — в степени понимания того, что «объект сконструирован». Но если Сьюзен Гэл считает, что такого понимания больше в антропологии, чем в социологии («Мне кажется, что это повлияло на антропологию больше, чем на социологию. Студентов, изучающих антропологию, теперь учат ставить под сомнение концепты, конвенции и категории, при помощи которых они создают собственные “анализы” и “теории”»), то для Виктора Вахштайна это как раз признак социолога. По-видимому, это также является свидетельством не слишком глубокой пропасти между двумя дисциплинами.

Любопытно замечание Влады Барановой относительно степени коллективности социологических и антропологических исследований: в социологических исследованиях, особенно масштабных, для сбора и обработки данных значительно чаще, чем в антропологических, используются наемные интервьюеры и транскрайберы, что увеличивает масштаб исследований, но при подобной «конвейерной» постановке работы «отдельный участник может не представлять себе смысл проекта в целом, да и не все индивидуалисты готовы работать на таких условиях».

Интересны рассуждения Александра Садового о ситуации в российской провинции: он отмечает отсутствие «социального заказа» на подготовку специалистов, недостаточное число специалистов, способных провести качественную этнологическую экспертизу — настолько, что оказывается «значительно легче найти “заказчика” исследования, чем собрать группу, объединяющую этнографов и социологов, способных это исследование провести». Это отчасти объясняется тем, что «система высшего образования и аспирантуры по специальности “история” (в рамках которой ведется подготовка этнографов) или “социология” в регионах не ориентирована на подготовку специалистов в сфере национальной политики».

Вообще «отечественная традиция числить культурную антропологию (этнологию, этнографию) в ряду исторических наук не только не является оптимальной, но и фактически не соответствует действительности минимум с 1970-х гг.» (Анатолий Ямсков).

Александр Садовой приводит многочисленные интересные примеры, когда подобные совместные исследования все-таки были организованы. Нарботанные принципы организации подобных исследований, подробно им разбираемые, могут представлять интерес для коллег как практическое пособие по сотрудничеству.

Хотя это и не задача заключительного слова от редколлегии, трудно удержаться от искушения поспорить с некоторыми утверждениями наших авторов. Так, не могу согласиться с тезисом Дмитрия Арзютова, что «схождение, или соседство [этнографии и социологии], существовало и в Советском Союзе, где, например, в изучении коренных народов Сибири принимали участие в том числе и социологи (например, группа В.И. Бойко из Новосибирска), которые больше ориентировались на количественные методы исследования, поэтому их соседство с этнографами, занятыми решением прежде всего проблем исторической этнографии, было совершенно мирным и по возможности взаимоуважительным. Единственным отличием был метод — своеобразный диалог количественных и качественных методов исследования».

Не знаю, как в среде этнографов, но в среде лингвистов-североведов в 1980-е гг. «группа Бойко» не называлась иначе как «пресловутая»: деятельность этой группы сводилась к довольно грубым (и, к счастью, неудачным) попыткам возглавить (по ее терминологии — «координировать») все отечественное северное и сибиреведение, вынудить научные коллективы по всей стране писать бесконечные и бессмысленные отчеты, которые далее предполагалось подавать в государственные органы от

имени группы и как результат ее работы. Образцы собственной продукции группы¹ не выдерживают никакой критики.

Неточным кажется и тезис Виктора Бочарова, который, справедливо определяя метод «включенного наблюдения» как основной антропологический метод, объясняет его формирование невозможностью использовать иные методы «вследствие отсутствия в большинстве случаев письменных источников, а также вследствие глубоких различий в стилях мышления, создававших серьезные препятствия для вербального взаимодействия». Представляется, что «препятствия для вербального взаимодействия» возникали прежде всего не из-за разницы в «стилях мышления», а просто из-за недостаточного знания языка изучаемой культуры.

В заключение еще две цитаты. Первая — из текста Себастьяна Джоба:

«Та наука, которую в начале XXI в. мы знаем как социальную или культурную антропологию, обладает, как мне кажется, одним решающим преимуществом по сравнению с социологическим мейнстримом»: это преимущество — возможность этнографической полевой работы, которая в своих лучших образцах равносильна «инициации». «Антропология требует от своих новичков отправиться к другим берегам, изучать другие языки и попытаться быть принятыми людьми, которые смеют, пахнут, едят, любят, мечтают и борются по-другому».

Вторая — из замечательного британского антрополога Тима Инголда (эту цитату приводит в своем тексте Павел Белков): «Особенностью антропологии является <...> то, что мы занимаемся исследованиями *вместе* с людьми. Мы учимся воспринимать вещи (смотреть на них, трогать, слышать) так, как это делают они. И это заставляет нас видеть и свой привычный мир совершенно по-новому. В некотором смысле, таким образом, антропологическое образование не экипирует нас знанием о мире — о людях и обществах, к которым они принадлежат. Оно идет дальше — оно воспитывает в нас определенное *восприятие* мира, открывая нам глаза на возможность иных способов бытия, чем наш собственный. Речь идет о том, что изучая, мы учимся». При этом «социологический подход лишь дистанцирует исследователя от предмета практически и стремится превратить предмет изучения в проблему, которая исследуется незаинтересованно» (Ка-чонг Чой).

Публикуемая в этом номере «АФ» дискуссия, как кажется, интересна прежде всего тем, что в ней «по умолчанию», на вполне

¹ См., например: [Бойко, Еремин, Белошапкина 1979].

законных основаниях и равноправно смогли принять участие представители двух дисциплин: социологии и антропологии. Чем первые отличаются от вторых? Боюсь, что и после состоявшейся дискуссии мы вынуждены ограничиться «перевернутым» шутивным определением Бориса Винера: «социологи — это те, кто занимается социологией, а антропологи — те, кто занимается антропологией».

Приступая к написанию данного заключения, его автор увлекся идеей сравнить ответы на поставленные вопросы, данные социологами и антропологами, и показать наглядно на материале структуры и типов этих ответов, в чем разница между двумя подходами. Однако, как понял читатель, этот трюк не прошел: социологи и антропологи, принявшие участие в нашей дискуссии, часто высказывают похожие мысли, иногда близкими словами, демонстрируя тем самым, что между социологией и социальной антропологией, как и между учеными, числящими себя по тому или иному ведомству, сходств все-таки больше, нежели различий.

Библиография

Бойко В.И., Еремин С.Н., Белошапкина В.Н. (ред.) БАМ и народы Севера. Новосибирск: Наука, 1979.

Николай Вахтин